

ИЗ ПЕСНИ ЗЛОГО НЕ ВЫКИНЕШЬ

Юрий Колкер

Юрий Колкер

ИЗ ПЕСНИ ЗЛОГО НЕ ВЫКИНЕШЬ



Novelize Book Print Ltd
London

Novelize Book Print Ltd

ББК 84.Р7
К 601

Yuri Kolker – A Song with Parentheses
Юрий Колкер – Из песни злого не выкинешь

Воспоминания Юрия Колкера адресованы узкому кругу читателей: тем, кто читает и пишет стихи. Текст насыщен неявными цитатами. Построенный на дневниках 1971 года, он охватывает период с конца 1960-х до начала XXI века. Портреты известных в литературе людей соседствуют с портретами не-литературными.

Yuri Kolker's memoirs are addressed to a narrow circle of readers: those who read and write Russian poetry. The text is larded with implicit quotations. Being based on the author's diaries of 1971 though, it covers the period from the end of 1960's to the beginning of the 21st century. Known writers' portraits are outlined alongside with non-literary ones.

ISBN 5-87445-032-7



9 785874 450328 >

Copyright @ Yuri Kolker, 2008
ISBN 978-5-87445-032-7
Novelize Book Print Ltd

Юрий Колкер

ИЗ ПЕСНИ ЗЛОГО НЕ ВЫКИНЕШЬ

(прошлое с бантиком)



Я пишу о себе, иначе говоря, о стихах, своих и чужих. Разом нарушаю оба своих давних правила: избегать местоимения первого лица единственного числа и не смешивать стихи с прозой. Пишу о себе в конце 1960-х и начале 1970-х, когда жил в Ленинграде, с перескоками (или, если угодно, анжамбманами) в будущее, до XXI столетия. Держу в голове многие подобающие случаю эпитафии:

«Я, я, я – что за дикое слово? Неужели вон тот – это я?»

«Как жизнь меняется – и как я сам меняюсь! Лишь именем одним я называюсь...»

«Юность – это возмездие» (именно так, по-русски; традиционный русский перевод перегружает эту фразу смыслом; по-норвежски *ungdom* – скорее юношество, юноши и девушки, а не юность как состояние).

Не упускаю из виду урока Оруэлла: «Автобиографии веришь лишь в том случае, если в ней раскрывается нечто постыдное...». Урок Пушкина тоже тут:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Стараюсь, сколько есть сил, уйти от автоапологетики, от сведения счетов, от ковровой дорожки мемуаристики: «Я иду по ковру, вы идете, пока врете...». Стараюсь. Но сознаю, что выше головы не прыгнешь. Руссо упрекает Монтеня в том, что тот, якобы в порыве прямодушия, сообщает о себе невыгодное, однако ж на поверку – лишь то невыгодное, что в итоге рисует его в привлекательном свете. Руссо тоже старался. Он в своей *Исповеди* и слуга, и вор, и Альфонс, и онанист, а все равно – «в сущности, лучший из людей». Почему? Потому что таково

биологическое задание человека и былинки: отстаивать себя, верить в свое конечное торжество. Литература – вся об этом: о самоутверждении. Другое будет неправдой. Другой путь испробован: писать о себе хуже, чем ты есть, приписывать себе все мыслимые мерзости – ибо чем же еще и привлечешь к себе внимание в наши дни? Но тут нас впрямую дурачат.

Мои воспоминания адресованы читателю литературному, одно из главных наслаждений которого – не соглашаться с мемуаристом, отмечать его стилистические и человеческие промахи. Это очень специфическое наслаждение: критически проследить кусок невыдуманной человеческой жизни. Стихи, вставленные в текст, ему читать *придется*. Иначе, боюсь, тут и читать нечего. Но именно этот читатель поймет: не только стихи, а всё, что вошло в текст, благодаря стихам составляет для меня единый ценностный ряд – без анжамбманов.

Я пишу в Лондоне. Место это неудобное. Здесь в XIX веке один чужак написал о себе-любимом пространное апологетическое сочинение, повлиявшее на судьбы России, и меня непременно с ним сравнят – чтобы унижить сравнением. Напрасный труд! Я сам себя унижу. Этим и занят. У меня на уме только стихи да грехи. До России мне дела нет. Не верю в эту страну, не люблю ее. Принадлежу ей только по факту рождения. Моя родина – не Россия, а русская просодия.

ПАСТЕРНАК И ФИХТЕНГОЛЬЦ

*Слова нужны,
Хотя и тщетны,
Едва слышны,
Ветхозаветны.
Сам бог, как Бах,
Стыдясь не очень,
На мелочах
Сосредоточен.*

1971

В 1969 году, из рук тогдашней моей подруги, я получил томик стихов Пастернака. Книжка была небольшая, мое невеже-

ство – полное, подруга – худенькая, бледная; несмотря на годы *совместности*, чуть-чуть таинственная. В иных женщинах это качество с годами прибывает.

Я все еще находился под сильным влиянием Григория Михайловича Фихтенгольца. Был такой автор. Написал три толстых тома дифференциального и интегрального исчисления. В студенческие годы русский язык этого учебника ошеломил меня. В первую очередь – именно язык: стройный и строгий, светящийся изнутри, как соты, напитанный европейской культурой. Самая графика его была упоительна; взять хоть нумерацию теорем и лемм на итальянский лад: не цифра с точкой, а цифра с ноликом за нею, поднятым над строкой ($1^0, \dots, 5^0$). Это вводило Бог весть в какую глубину, к Кардано, к Галилею. А уж за языком – и мысль. Она ведь доставляет наслаждение, лишь когда форма хороша. Фихтенголец открыл мне путь к другим виртуозам формы: Эйлеру, Лагранжу, Винеру. Язык и полет мысли современных (тогдашних) западных математиков (Ричарда Беллмана, Джона Литлвуда) тоже был упоителен – и уже стал для меня эстетическим переживанием. А поэтам – поэтам я верить перестал. Давно уже не верил. Мысль их скудна, форма – стара. Отчего они так ошеломляли в детстве?

Было мне в ту пору 23 года. Стихи не ушли, только поникли перед уравнениями. Я сочинял с 1952 года, с шести лет, никуда от рифм деться не мог, продолжал сочинять в школьные и студенческие годы, когда накатывало, но видел ясно: и сам я пишу из рук вон плохо, и все другие вокруг – не лучше. Чаша Грааля больше не грезилась. Философский камень нужно было искать не тут. Советские поэты вообще в счет не шли. Классики устарели. В самиздате ходила чепуха. Питерская богема была отталкивающе противна. Я в нее заглянул лет в пятнадцать, через литературный кружок при дворце пионеров, и отпрянул с отвращением. Полуподпольные гении были грязны, самонадеянны и глупы: вот всё, что я увидел.

Подругу (или, если угодно, возлюбленную) звали Фика. Любил я ее не в свою силу, скорее позволял любить себя. Была она скандинавских кровей и, как сказал бы Петр Андреевич Вяземский (как он *сказал* о молодой жене Боратынского), не эггической наружности, не красавица; но ее украшала улыбка.

Застенчивость и робость уживались в ней с большой самостоятельностью и склонностью к авантюре. Она выросла в бедности, среди людей малообразованных, но читала стихи, любила и понимала классическую музыку. Училась всегда неважно, а вместе с тем писала грамотнее меня. На мой тщеславный вкус ей не хватало внешнего блеску, острословия, изящества, женственности, мешала ее подростковая угловатость, но я уже начинал прислушиваться к ее словам. Открыв томик Пастернака в ее присутствии, я опешил: стихи были просты и убедительны. Они были грамматичны, в них можно было найти слово *который*, да еще – и в рифме. Просты – и убедительны! Во мне что-то сдвинулось.

Как можно было не знать Пастернака до двадцати трех лет? А очень просто: повело в другую сторону. Не было наставников и книг. Не было культуры – на целые квадратные километры вокруг. Я, без преувеличения, на медные деньги учился. Вокруг был народ, советский народ, иначе говоря, худшее в мире мещанство, страшная пошлость и захолустность. Это чувство из самого раннего детства вынесено: лозунги о самом передовом строе подстилали неправдоподобную провинциальность советской жизни – и где? в Ленинграде.

НЕДОРОСЛЬ ПЕРЕД КАМНЕМ

Получалось вот что: без стихов жить нельзя, а стихи – ни на что не годятся. Ни мои, ни чужие. Приоткрывшееся окошко захлопнулось. Пастернака я полистал и отложил. Силы оттягивала научная карьера. Полагалось диссертацию писать. Зачем? Чтобы доказать себе и другим, что я не верблюд. Чтобы дальше заниматься чем-то не совсем противным, получить хоть какую-то свободу, а не от звонка до звонка отсиживать. Наука была тогда патентом на благородство. Чем еще можно было заниматься в Советском Союзе?

Научная карьера не задавалась. Я выучился на математика-прикладника (окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, ЛПИ), а подвизался в математической биологии, состоял младшим научным сотрудником Агрофизического института (АФИ). В этом сельскохо-

зайственным учреждении как раз открылся подходящий отдел во главе с Ратмиром Александровичем Полуэктовым, руководителем моей дипломной работы в ЛПИ.

– Тысячи людей занимаются теорией устойчивости, – говорил Полуэктов. Слова его нужно было понимать в духе Зинаиды Гиппиус: «Стал тесен мир, его оковы неумолимы и суровы, где ж вечным розам расцвести? Ищите новые пути!»

Полуэктов специализировался на системах управления, иначе говоря, на кибернетике. Набрал в свою лабораторию в АФИ способных молодых физиков, биологов и математиков. К нему шли охотно; отдел кадров поначалу беспрепятственно пропускал евреев. АФИ – таков, между прочим, был и акроним основателя института, академика Абрама Федоровича Иоффе (1880–1960).

Занимались мы динамикой биологических популяций, математической генетикой и еще чем-то несколько отвлеченным. Основания динамики популяций заложил итальянский математик Вито Вольтера (1860–1940), описавший двумя дифференциальными уравнениями взаимосвязанное изменение численностей популяций хищника и жертвы. Это была забавная игрушка: выходило (как это и в природе наблюдается), что не только волкам нужны зайцы, но и зайцам – волки. В осях X–Y получался замкнутый цикл, вытянутый вдоль биссектрисы первого квадранта. Как раз тогда, в 1969-м, к этой задаче приложил руку сам Колмогоров. Его статья вышла во всесоюзном альманахе *Проблемы кибернетики* на 1970 год. В этом же томе напечатана и моя дипломная работа, описывающая в разностных уравнениях динамику возрастной структуры популяции, – тоже, конечно, игрушка, изящная, но бесполезная. В статье у меня два соавтора (Полуэктов и Ирина Ефремовна Зубер, она же Эврика Эфраимовна Зубер-Яникум), однако ж написана статья (ее текст) от начала до конца мною. Соседством с Колмогоровым я, естественно, очень гордился. Но вышло, что вообще гордиться мне особенно нечем.

В полуэктовской компании я оказался в хвосте. Мой диплом с отличием, красные *корочки* ЛПИ, на деле стоил недорого. Были в АФИ люди вообще очень талантливые: Леня Фукшанский, Лева Гинзбург. Другие – вроде Гиммельфарба и Ши-

това – отличались хваткой. Ни настоящей одаренности, ни хватки, ни трудолюбия и целеустремленности я не обнаружил. В голове был ветер. Я не хотел взрослеть, не думал о будущем. Я всё еще играл в волейбол за команду Политехнического института. Хуже того: я сочинял стихи.

К 1970 году я начал осознавать: в большие ученые мне не выбиться. Над уравнениями скучал. Мучался этим. Не понимал, что музы ревнивы – и редкому угождают две из них (а когда угождают, то одна смеется над другою – как в случае Ломоносова и Гете). Это ли стало причиной разочарования в науке вообще или тут была обратная причинно-следственная связь? Выбираю невыгодный для себя ракурс: виноград зелен. Не смог, оттого и разлюбил. Конечно, всегда можно сказать, что работать мешали, и это будет сущей правдой. Кто хлебнул из этой чаши в стране победившего социализма, тот сам знает. Кто не хлебнул, тому не объяснишь. Но эта правда будет не всей правдой. Будь наука для меня главным, я бы пробился.

Виноград оказался зелен. Душевную пустоту нужно было чем-то заполнять. Пастернак не прошел даром. Выяснилось, что и советский поэт – не всегда Евтушенко. Тут явилась мне мысль престранная и воодушевляющая.

МОЕ ГОРАЦИАНСТВО

С детства, с первых мною написанных млечных рифм, само собою разумелось для меня, что если поэт, то – Пушкин. Кто еще? Каждый услышавший рифму русский ребенок чувствует себя Пушкиным. Лермонтов (я знал это всегда) – его бледная тень. (Что Лермонтов – первый, задолго до Маяковского, *поэт резолюции*; что его царь Николай назначил преемником Пушкина, никто никогда мне не говорил. Что Лермонтов – не второй и даже не третий русский поэт своего времени, мне тоже пришлось самому понимать.)

Поэт читалось как *гений*. «В стихах посредственность – бездарности синоним», – этой формулы я в ту пору не знал; в Горация не заглядывал, про Буало не слыхивал. Согласился бы с нею, но – лишь как с выхолощенной формой мысли более естественной: я – лучший из поэтов, я – новый Пушкин. Не смей-

теть. На меньшее душа ребенка не соглашается. Думаю, что это дикая мечта сидит в каждом стихотворце, пока он пишет, но сидит не как мысль (такой мысли не помутненное сознание не выдержит), а на подсознательном уровне. Там заложено: «Я – *хоть в чем-то*, да лучший». У кого эта младенческая иллюзия прошла, тот стихи писать перестает.

Выходило вот что: стихи я пишу плохо, совсем плохо (понять это ума хватало), а вместе с тем я – лучший, избранник божий, пророк, гений. Всё или ничего. Рассудок говорил: ничего. Пустое место. Какое, к чорту*, всё?! Сам видишь. А на подсознании маячило и зудело то самое, вздорное, неизъяснимое. Всё было против меня. Плюс еще одно.

Уже в двенадцать лет я знал: поэт с моей фамилией – в России невозможен, не нужен. Моя народность выражалась в том, что моя же собственная душа отвергала мою фамилию, не допускала ее присутствия в русской поэзии. Вырасти в ленинградском дворе и хоть чуть-чуть не быть антисемитом – две вещи несовместные, будь ты хоть десять раз евреем. Бодрости это не прибавляло. В итоге начальный пыл, по временам вспыхивавший с новой силой, всё же с годами сходил на нет. Опереться было не на кого. В студенческие годы казалось, что стихи даже и главным в моей жизни быть перестали. В столе пылился ворох недоработанных набросков с какими-то (можно допустить) проблесками. Куча битого стекла в лучах заходящего солнца.

Оставалось повеситься. Вешаться не хотелось. На помощь подоспел возраст.

Взрослея, мы уступаем. Компромисс – вот другое имя взрослости. К 1970 году я уже настолько повзрослел, что сказал себе: я готов довольствоваться малым. Хочу стихов и живого отклика на них. Не нужна мне слава, плевал я на величие, оно только детям грезится. Хочу научиться писать без вывертов и протуберанцев. К чорту озарения. Хочу донести хоть что-нибудь хоть до кого-нибудь. Уступаю нашему жалкому времени: буду понят-

*Имя нечистого я склонен писать по-старому. Чорт через е(ё) – очень советская выдумка.

ным. Разве сложность – не одна из личин высокомерия? Неужто я, в самом деле, настолько сложнее моего соседа и приятеля Кости Красильникова? Стихи должны что-то сообщать.

В 1970-м назревал переворот. Но нельзя сказать, что предшествовавшие ему годы были совсем пусты.

АНДРЕЙ РОМАНОВ

В студенческие годы я близко сошелся только с одним стихотворцем-ровесником, в чей талант поверил: с Андреем Романовым. Загадочная была дружба; пожалуй, не до конца искренняя, не вполне и бескорыстная. Он был мастеровитее меня и твердо намеревался «пробиться», я смутно надеялся что-то перенять от него. Студент физико-механического факультета, я не мог не смотреть чуть-чуть свысока на студента-гидротехника; он – не физик, стало быть, уже не ровня мне. (Потом он и вовсе в богадельню ушел: в институт железнодорожного транспорта.)

Многое в Романове мне не нравилось. Учился он кое-как, без высокого прицела, не скрывал, что ему только инженерный диплом требуется. В пристрастиях и интересах приземленный, с хитринкой и излишним, на мой вкус, налетом цинизма (хотя какая молодость вовсе без цинизма?), был он, вместе с тем, артистичен. Пел под гитару (про лондонских девочек):

– Наши слезы крокодильи
чуть окрашены тоской.
Мы живем на Пикадилли –
приходите к нам домой!

Я в ту пору не очень ясно представлял себе, где эта Пикадилли находится и что она такое, – но гитара, даже в руках Романова, завораживала. За это, войдя в возраст, я сильно невзлюбил ее: за то, что бряцание струн любой чепухе глубину сообщало.

Одному знакомому не понравились бегающие (за стеклами очков) глаза Романова. Я объяснил, что это болезнь.

– Бог шельму метит, – откликнулся тот.

Романов курил, что было для меня в ту пору почти невыносимо. До него – я попросту не дружил с курящими. Но тут симпатия и вера в его одаренность перевесили, и я смирился.

Стихи Романов писал неожиданные, парадоксальные, – это было важнее всего.

Меня вчера убили на Расстанной.
Проходит ночь, короткая, как жизнь,
и ты мне молча говоришь: останься!
Я ухожу и говорю: держись!

Мы занятно дополняли друг друга по контрасту: Романов черноволосый, я – светловолосый. Он – осторожный и лукавый, я – застенчивый, вспыльчивый и заносчивый. Характер у него был ровнее. Будучи старше меня на год и два месяца, он казался старше на годы; лучше понимал, что общество, в котором мы жили, небезопасно; и что уступать – придется.

Познакомились мы с Романовым в редакции многотиражки *Политехник* и с тех пор частенько ходили парой. Многотиражка поначалу не печатала наших стихов: в них обычно недоставало комсомольского энтузиазма. Критиковал и отвергал стихи «литсотрудник» по имени Федор Пуго, по прозвищу Фуго-Пуго, молодой, громадного роста (притом что и мы с Романовым были не маленькие), с топорным лицом, добродушный и туповатый. От него я впервые услышал, что «в Советском Союзе цензуры нет». На взрыв негодования с моей стороны: то есть как это нет?! – он спокойно ответил:

– У нас есть Горлит.

Редактором многотиражки состоял какой-то чудовищный замшелый большевик Лебедев, ходивший с палкой. Он писал прозу. Мы случайно узнали, что его роман, плод многолетних усилий, назывался *Прямолинейный* – и был отвергнут где-то там, наверху, где творилась советская литература.

Романов привел меня на Обводный канал, в *Радугу*, литературное объединение поэтессы Елены Вечтомовой. Собирались там по четвергам. Вечтомова запомнилась мне толстой, очень советской, самодовольной и глупой. В ее кружке преобладали люди немолодые и, казалось мне, вопиюще бездарные: какие-

то производственники, какие-то старушки с воспоминаниями о Кирове. Помню несколько имен: Юрий Оболенцев (он ходил в талантах), Наум Гольдин, Лиза Дорохова (имя Лиза казалось в ту пору деревенским), Галина Соколова, Олег Кадкин, Зоя Лелекова, Владимир Зубов, Яков Бурачевский, Вильям Добровлянский (представлялся: «Вильям, но не Шекспир»), Николай Зазулин, Скипетрова, Баранов. Мои стихи не понравились, что было и правильно, только не им бы судить. И сам я Вечтомовой не понравился.

Весной 1966 года, с этой самой *Радугой*, ездил я в промышленный поселок Пикалево под Ленинградом. Мы читали стихи в тамошнем литературном объединении.

В редакции *Политехника* тоже существовало что-то вроде литературного кружка под началом Фуго-Пуго. Мы с Романовым там быстро освоились и чуть ли не главенствовали, во всяком случае на прочих смотрели свысока – с высоты своей общности, своего единения. Взаимное признание – великая сила; оттого-то молодые авторы и ходят сворами.

Запомнился мне некто Ханух Манувахов, черноволосый горбоносый горец, гордый джигит. Был он вот именно что горд, прямо до надменности, хоть ростом и не вышел. Говорил мало. Взгляд имел демонический. По слухам, ни одна женщина устоять не могла. Стихи же его были сносны, почти хороши, что скорее удивляло при такой экзотической наружности и фамилии.

Откуда у джигита приличный русский? Он ведь с Кавказа приехал: из Дагестана, кажется. Подписывал стихи и вовсе сильно: *Хан* Манувахов. Чувствовал, значит, эту выгодную аллитерацию – и не только аллитерацию; слово *хан* – не чужое для русского уха.

Прошли годы, прежде чем я догадался, что он – из татов, горских евреев; вообще из тех мест, откуда хазары пошли. Имя и фамилия – оба проистекали прямо из иврита. מנוח (маноах) на иврите означает *покой* (но также и *покойник*). При отсутствии огласовок буква вав (ו) иногда в письме удваивается, а читается она по-разному: и как *о*, и как *у*, и как *в*. Напишем מנווח – это уже прямо можно прочесть как *манувах*. Занятно, что слово *покой* в женском роде – меноха, менуха – дает другую из-

вестную еврейскую фамилию: Менухин. Не родственник ли был Манувахов скрипачу Иегуде Менухину? Имя Ханух тоже значащее: его можно перевести как *воспитанный*, но корень хет-нун-вав дает и значения *праздновать, торжествовать*. В итоге получается либо Воспитанный Покойник, либо Праздничный Покой, но так или иначе, а всё – на языке Писания. Догадливый Манувахов ни полусловом нигде не обмолвился о своем происхождении. Все поверили, что он из татар, а ведь татары – *наши меньшие братья*, им всюду дорога. Удивительно ли, что Манувахова стали печатать – и не в многотиражке, а в настоящих изданиях? Признайся он, что родом из *старших* братьев, из евреев, – все двери были бы разом закрыты перед ним.

Один раз пришел в кружок со стихами старшекурсник факультета радиоэлектроники Саша Житинский. Мне было восемнадцать, Романову – девятнадцать, мы заканчивали первый курс, Житинскому – 23 (я думал – 21), он был на четвертом. Случилось это в 1964 году. Мы, младшие, но уже давние сочинители, твердо знали, что ветер дует слева, со стороны авангарда. Житинский делал первые опыты, принес нечто сусально-романтическое:

Я часовой потерянного мира.
В руке копье, за поясом – клинок.
Надменная, холодная секира,
Сверкая бронзой, замерла у ног.

Мне это показалось постыдной чепухой, вчерашним днем. Не верилось, что серьезный, взрослый человек (он был в костюме и чуть ли ни при галстукe) может писать такую размазню. Ровненькие, аккуратненькие катрены; строки – с начальной прописной, мною *уже* отброшенной, и – «часовой потерянного мира»! Я вообще был крайне несдержан, уныние чередовалось у меня с приступами перевозбуждения. Тут, помню, я зло и надменно изгалялся над этими стихами. Романов тоже не пожалел новичка, впервые задетого крылом гречанки. Житинский сидел, чуть склонив голову набок, слушал совершенно спокойно, без тени раздражения – и не возразил ни словом. Больше я его в *Политехнике* не видел.

большевике. Его портрет глядел со стены. Баженов мог бы и другие мои строки процитировать:

Подбирают к эпохе – эпитеты,
об эпохе с апломбом беседуют,
с аппетитом эпоха выпита
и съедена буквоедами,

– так писал я тогда, и дальше спрашивал – неизвестно кого, неизвестно о чем: «Где закрыли от нас мишурой существо обнаженного факта?». А под конец предоставлял слово деду Федору Иванычу:

– Круглый год, забывая про отпуска,
мы в поту работали до ночи,
а потом нам все грехи отпуская
Иосиф Виссарионович.

Сам Федор Иваныч, нужно сказать, на праздник Молоха опоздал: умер в 1935 году своей смертью, от туберкулеза. Рабочий, большевик со дня основания партии, солдат, он сделался красным командиром, выслужил при большевиках три ромба, перед смертью успел побывать в Германии, где работал в торгпредстве, и привез оттуда фразу, за которую Иосиф Виссарионович его бы не похвалил: «Почему мы так не можем?!»

В моих стихах дед меня и других наставляет:

– Знать, смотрели, внучата, плохо!
Ну-ка, дайте-ка я взгляну... –
И глядит. А в глазах у него – эпоха
в натуральную величину...

Что тут скажешь? Автору семнадцать лет.

Вероника из *Радуги* иногда пристраивалась к нашей с Романовым компании. Заметно старше нас, она ребячилась и словно бы не чувствовала разницы в возрасте, была склонна к острословию, лихорадочно оживлена, нас с Дрюней называла непременно по фамилиям, а мне казалась чуть-чуть вульгар-

ной. Она курила и красила губы. Одного из этих двух качеств хватило бы, чтобы меня оттолкнуть. Мешало еще и то, что стихи ее внушали мне полное уныние. Я не догадывался, что ее отношение ко мне идет дальше приятельства.

Как-то Вероника отвела нас в домашний литературный салон на углу улиц Восстания и Жуковского. Сергей Файнберг, психиатр, и его сестра, Наталья Лурье, собирали у себя писателей, не симпатизировавших советской власти. Приходили к ним Алла Драбкина, Игорь Федоров (работавший водопроводчиком), Виктор Бузинов, а из тогдашних *местных* знаменитостей – Глеб Горбовский и Виктор Соснора. Мы с Романовым оказались среди них полными юнцами. Нас увидели вот как: мальчик с русской внешностью и еврейской фамилией (я) и мальчик с еврейской внешностью и русской фамилией (он). Мы читали что-то. Через неделю Вероника принесла оттуда слова Файнберга: «Русский еврей очень талантливый мальчик, но у него чувствуется какой-то душевный надлом. Правда, он еще так молод; может, образуется...». Вероника относила эти слова ко мне, но почему же было не отнести их к Романову? Я видел: он пишет лучше.

Были мы с Романовым и у прямых диссидентов. Квартира в новостройках; человек восемь, включая нас, за столом без угощения; заговорщицкая серьезность, какие-то открытые письма на Запад – о притеснениях русской литературы. Ни одной физиономии, ни одного имени память не сохранила. Мне было горько и смешно. Я-то мучился вопросами о тайнах творчества, искал философский камень, – а у этих всё уже было найдено и решено! Они уже Пушкины и Толстые, осталось только напечататься. Что до Романова, то он просто испугался. В перерыв мы сбежали. На лестнице нас разобрал истерический хохот.

С Романовым связан вот еще какой уникальный опыт: у него на Расстанной я услышал (с *долгоиграющей* пластинки; 76 оборотов в минуту) единственную западную эстрадную песню, которую полюбил на всю жизнь. На мое поколение, на 1960-е, приходится расцвет Beatles, но они прошли мимо меня так, как если б их вовсе не было. Я о них *не слышал*. Все эстрадные песни, весь рок, казались мне чепухой. Ничто не заде-

ло. Точнее, задел на минуту *Тюремный рок*, еще в школьные годы; но имени Элвиса Пресли я не знал – оно дошло до моего сознания только в Лондоне, в 1990 году. А вот это – я услышал в 1968-м, и – как откровение:

I'd rather be a sparrow than a snail.
Yes I would, if I could, I surely would.
I'd rather be a hammer than a nail.
Yes I would, if I only could, I surely would...

Едва удерживаюсь от того, чтобы не выписать слова целиком. Ложно-многозначительные и пустоватые, они были для меня совершенно неразличимы в 1968 году, со слуха я не понимал по-английски ни слова, что очень помогало, придавало песне таинственности и прелести.

Это *El Condor Pasa* Саймона и Гарфункеля. Пришло ли мне в голову узнать что-либо об этой паре? Ни на минуту. Даже имена их всплыли много позже. Другие их песни тоже меня не тронули. Не мог я творить себе кумира на эстрадном материале. Эйлер и Лагранж – вот были мои кумиры.

Потом оказалось, что эта песня, непостижимым образом классифицируемая как рок, на деле – перуанская народная мелодия (в обработке) и что в оригинале она, осторожно говоря, не хуже. Саймон только слова присочинил. Еще оказалось (спустя годы, когда я увидел портреты певцов на конверте для пластинки), что я внешне похож на Гарфункеля, только волосы у меня вились не мелкой, а крупной волной.

То ли мне пригрезилось это, то ли Романов сказал, – но я почему-то думал, что песня эта посвящена яхтсмену-одиночке, затеявшему кругосветное плаванье. Если так, это мог быть только Франсис Чичестер, прославившийся в 1966 году. В 1968-м никакого имени я не запомнил (и знать не мог; советские газеты о такой *ерунде* не писали). В начале 1990-х, в Гринвиче, в компании поэтессы Ольги Бешенковской, я впервые увидел легендарную яхту Чичестера *Gipsy Moth IV*, выставленную рядом с *Катти Сарк*. Название яхты я перевел для Ольги как *цыганская моль* (каждое слово по отдельности); правильный перевод – *непарный шелкопряд*.

ГЛЕБ СЕМЕНОВ

Дружба с Романовым длилась до 1973 года. На этот период приходится мои встречи с Глебом Сергеевичем Семеновым (1918–1982), знаменитым в ту пору наставником молодых поэтов. Однажды, вероятно, в 1965-м, оказался я у него «на Нарвской заставе». Про это литературное объединение «много говорили», иначе бы я туда не попал. Оказался я там, сколько помню, один, без Романова. Меня поразило, что и здесь, как у Вечтомовой, люди всё сидели немолодые: тридцатилетние и даже старше. Дожить до *преклонного возраста* – и не прославиться?! Продолжать писать?! Ходить на занятия, к наставнику, словно в класс? Это не укладывалось в сознании вчерашнего школьника.

Я прочитал что-то.

– Прочтите еще, – сдержанно предложил Семенов. Был он длинноволос и сутул, мал ростом, с длинным носом. Я прочитал еще. Обсуждения и критики не последовало.

Помещение напоминало классную комнату: три колонки похожих на парты столов для слушателей, стол для преподавателя. Семенов представил собравшимся поэтессу, «только что вернувшуюся из Сибири», чуть ли не Лидию Гладкую. Уступил ей место. Она вышла из рядов, села за учительский стол (я думал, что стихи читают только стоя) и стала читать, переворачивая страницу за страницей (тоже новость для меня; я читал на память). Стихи показались мне замечательными. Непонятно было, как с такими стихами она не знаменита. Чем больше она читала, а читала она много, тем большим я чувствовал себя ничтожеством. Но это были цветочки. После нее читали по кругу. Каждый из немолодых людей, все – какие-то потрепанные, помятые, незначительной внешности, прочел по одному стихотворению – и все стихи были профессиональны. У Вечтомовой – все плохи, а здесь – все хороши! И никто, начиная с Глеба Семенова, никому за пределами этой мастерской не известен... Возвращался я совершенно раздавленным. Жить было некуда.

В 1968 году прошел слух, что при союзе писателей набирают молодежное литературное объединение, не обычное, ка-

ких много, а центральное, городское. Те, кто попадут в него, уж точно – таланты. Набирал Глеб Семенов. Набор шел в несколько туров, в гостиных Шереметевского особняке на Неве. В ту пору это был Дом писателя, главное гнездо союза писателей.

На душе у меня было пасмурно. Летом 1968-го, в южном лагере Политехнического института под Туапсе, завершился мой платонический роман с бывшей одноклассницей Галей Т., в которую я влюбился еще во втором классе школы. Завершился ничем. Влюбленность была отчасти выдуманная, литературная, не без блоковской Прекрасной Дамы, и – перемежающаяся. В моих стихах Галя выступала как Беатриче, что ей ничуть не шло и не нравилось. Прежде, чем подружиться с нею... но тут невозможно не сказать, что вздыхал я по Гале со второго класса, а признался в этом – на первом курсе института; прежде, до этого – мы не то что не дружили, мы не общались. Оцените мою скромность – или пылкость?.. Когда же дружба между нами возникла и установилась (на четвертом курсе), выяснилось, что она обоим не очень нужна, и в 1967-м мы расстались. В августе 1968-го, на юге, Беатриче сказала мне, что выходит замуж. Я обливался слезами, но скорее от обиды. В город вернулся печальным и потерянным.

Я был дипломантом физ-меха. Стихи свои тихо ненавидел. В затеваемом объединении Семенова почувал свой последний шанс. Почему последний? Потому что мне уже двадцать два года, а я всё еще никто и звать никак. Александр – в двадцать был повелителем мира. Другой Александр – в двадцать *Руслана и Людмилу* написал. Если меня примут, будет хоть слабое утешение, хоть какая-то поддержка в этом двоящемся, троящемся, разбегающемся мире.

Неожиданно среди претендентов оказались те, кого я давно отверг: Виктор Кривулин и прочая *диссида*. В талант Кривулина я никогда не верил ни на минуту. Столкнулся с ним в первый раз в начале 1960-х, в квартире Натальи Грудининой, была такая поэтесса, вела кружок при дворце пионеров, а по вечерам охотно принимала молодежь у себя дома. Запомнилась она одним: будучи в доску советским человеком, коммунисткой, она, тем не менее, с пылом защищала Бродского, когда на того начались гоне-

ния. Кривулина, уже студента, я потом как-то слушал на филологическом факультете, там выступало несколько начинающих стихотворцев, читал стихи и я, тоже студент, но – Политехнического института. Помню строчку из его тогдашней программы «В этом доме живет лесник...» и мою реакцию на нее: «Он подбирает зады! Всё это столько раз уже слышано!»

Тут, в гостиных Шереметевского особняка, я с изумлением увидел, что вся эта богема, грязноватая и пустоватая в моем представлении, – свои люди для Семенова, он их давно и хорошо знает и со счетов не сбрасывает. Это меня задело.

Был там, среди прочих, и Константин Кузьминский, тот, что потом в США затеял антологию *Голубая лагуна*. Из его стихов помню обломок строки: «...не Майя, не моя...» – и ничего больше. Полагалось представляться, говорить, какое образование ты получил и где работаешь. Кузьминский ошеломил меня:

– Я, – сказал он, – литературный секретарь Татьяны Гнедич.

Существовало такое средство против советского закона о тунеядцах: числиться литературным секретарем кого-либо из членов союза писателей, – разумеется, не получая денег. Но это я потом понял. В словах Кузьминского меня сразу многое поразило: и то, что есть литературные секретари (каков должен быть писатель, если у него наемный секретарь!), и то, что писатель сам в состоянии платить секретарю (что не платили, я не знал), и то, что общественная позиция Кузьминского была открытым эскапизмом – ведь что же другое может означать решение молодого человека никаких видимых успехов в обществе не искать? Семенов, выслушав Кузьминского, сказал, что ему ясно: Кузьминский «знает, что делает», и серьезных намерений вступать в литературное объединение не имеет. Кузьминский не возражал.

Было несколько человек из числа полузнакомых, виденных в литературных закоулках прошлого. Женя Пазухин (он, как и Кривулин, учился некогда в *моей* 52-й школе, классом или двумя старше) прочел стихи о том, как беременная женщина в автобусе прет брюхом вперед и нещадно теснит лирического героя. Все смеялись, включая Семенова, а я спрашивал себя: неужели это – поэзия? Зачем эти люди здесь собрались? Что они такое?! Все держались свободно, ни для кого ничего тут не ре-

шалось, только для меня, мрачного одиночки и зазнайки. Многие годы спустя, уже в литературном полуподполье, судьба несколько раз сводила меня с Пазухиным. Он уже не стихи писал, а считался религиозным мыслителем. Рассказывали, что он – «умнейший человек России», третий в истории. Пушкина так назвал царь Николай; Василия Розанова – глас народа, а Пазухин догадался, что мы не можем ждать милости от природы, и сам себя таковым провозгласил... Должно быть, врали, злословили.

Был на этом людном сборище и Марк Мазья, которого я смутно помнил по дворцу пионеров: юноша с недоразвитыми руками младенца.

Собирались несколько раз. Претенденты читали, Семенов слушал. Читал и я. Читал не лучшее, а последнее, совсем невыигрышное. Прочел стилизацию на еврейскую тему, навеянную Фейхтвангером, моим тогдашним минутным увлечением. Написана она была белым хореем с женской клаузулой – под *Калевалу* и *Песнь о Гайявате* – и ни в чем не была для меня характерна.

– Даже если вас высоко
злато вознесет и мудрость,
да не станет в вас гордыня
выше меры и рассудка.

Так учил нас мудрый старец
Авраам из Сарагосы,
приоткрывший нам завесу
в храм высокого познания.

В еврейской теме присутствовала, по тем временам, некоторая дерзость. Была тут и особая пикантность, решительно никому не понятная: я ведь себя евреем не считал и не чувствовал, я *брал* это на себя (да и внешность моя большинству казалась самой что ни на есть великорусской). Интерес к еврейству у меня проснулся под влиянием Шестидневной войны 1967 года, но вскоре схлынул. Всё, что я знал о евреях, было вычитано у Фейхтвангера.

– Это перевод из Гейне? – спросил меня кто-то.

Я зло буркнул в ответ, что это подражание Гейне. Потом понял, что вопрос был правильный. Гейне я не читал.

Еще я прочел *Балладу о белых башмаках*, иначе БББ, тоже возникшую не без Фейхтвангера, хоть и привязанную к моей судьбе. Название в ней было вмонтировано в текст:

Про выстрелы и ладан,
про иней на висках,
про всё, про всё –

БАЛЛАДА
О БЕЛЫХ
БАШМАКАХ

Ах, беленькие туфельки
на низких каблуках!
Должно быть, это выдумки –
не верится никак.
Но говорят в народе:
мол, нечего вникать,
твоя лаура ходит
в белых башмаках.
Мне говорят: не верь ей!
Видали мы таких.
Она за вашей дверью
меняет башмаки.
Завидуют, завидуют –
от этого и лгут!
Ну где ж такое видано?
Поверить не могу!
Но говорят в народе
злые языки:
уж ходит, мол, так ходит,
мол, это пустяки.
Мне говорят: ну дело ли
природу упрекать?
Зима и вовсе белая,
а ты о башмаках!

Мы маленькие, маленькие –
много ль нужно нам?
Зимой достанем валенки
с горем пополам,
не валкие, не тесные,
и варежки с руки...
Осталось неизвестно мне,
причем тут башмаки.

Это был отклик на тот завершившийся и не совсем настоящий роман с бывшей одноклассницей Галей Т., моей Беатриче. Вряд ли она была антисемиткой, но поводом к окончательной размолвке в 1967 году послужили ее слова: «Я их не люблю».

Мне чудится, что последнее отборочное заседание в Шереметевском особняке проходило в зале, устроенном амфитеатром. Был ли там домашний театр или память подводит меня? Завсегдатаем Дома писателя я так и не стал.

Семенов огласил список отобранных. Меня в списке не оказалось. Началось оживление, люди вставали, обменивались мнениями, переговаривались. Все друг друга знали. Не чувствовалось ни малейшей дистанции между Семеновым, как-никак начальником, членом союза писателей, и этой непричесанной литературной молодежью. Но всё это оживление в зале я схватил в кратчайшее мгновение, потому что в ту самую секунду, как Семенов положил список на стол и начал комментировать свой выбор, я встал и вышел из зала. В гардероб спустился в полном одиночестве. В душе мешались гордость, бешенство и отчаянье. Не хотите? Обойдусь!

Дальше (но об этом дальше) Семенов меня заметил, привечал и поощрял.

В январе 1982 года, отправляясь на смену в котельную (за спиной – рюкзак с пишущей машинкой и книгами) я проходил мимо Дома писателей и увидел какое-то оживление у входа. Оказалось, там – гражданская панихида, прощание с Семеновым. Слухи о его болезни доходили до меня, вместе с предупреждением: «Он никого не хочет видеть».

Я вошел. Толпа была громадная, гроба мне увидеть не удалось, задерживаться не было возможности. Минуту или две я

слушал речь Кушнера, запомнил слова: «Когда поэт умирает, шрифт его стихов укрупняется...». По дороге в котельную перебирал в уме всё, связанное у меня с Семеновым. Среди прочего вспомнил, что иные называли его Глебом Семеновичем – вероятно, думали, что на самом деле он какой-нибудь Каценеленбоген: уж очень еврейская была у него внешность. В какой мере они были правы? Его отца, Сергея Александровича Семенова (1893–1942), писателя из рабочих, к этому времени все прочно забыли.

ЖИТИНСКИЙ

С моим детским максимализмом я справился к осени 1970 года. Догадался, что живу для себя. Перестал дорожить «любовию народной». Решил любить себя – и не напоказ, а для себя. Дорос до разумного эгоизма (хотя и то сказать: какой же эгоизм неразумен?). Не совсем к месту повторял за Горацием: *est modus in rebus*.

Взрослея, мы уступаем. Компромисс – другое имя взрослости. Это уже сказано? Ничего. Повторю, потому что отступление затянулось, а мысль тут для меня заключена важная.

К лету 1970 года я настолько повзрослел, что сказал себе: я готов довольствоваться малым, совсем малым. Хочу стихов и осязаемого отклика на них. Не нужен мне берег турецкий. Не нужна слава. Ясно одно: не писать значит не жить; прав Грэм Грин, не понимавший, как живут те, кто не пишет. Хочу писать без вывертов, донести хоть что-нибудь хоть до кого-нибудь – потому что иначе меня словно бы и нет, а я знаю, что я – есть. Уступаю нажиму: буду понятным. Разве сложность – не одна из личин высокомерия? Стихи должны что-то сообщать (это Пастернак сказал, как потом выяснилось, но я тогда именно так чувствовал).

Однажды, направляясь к Фике, я зашел в книжный магазин *Молодой Ленинград* (на проспекте Смирнова, теперь это Ланское шоссе, дом 10 или 12). Существовал в ту пору литературный ежегодник *Молодой Ленинград*, в нем печатали молодежь, прошедшую искус социалистического реализма, а контрабан-

дой, по недосмотру начальства, – и не прошедшую, диссидентствовавшую. Об этом альманахе я не знал, изумился бы, скажи мне кто-нибудь, что сам в нем напечатаюсь через год с небольшим (потому что проникнуть в *большую* печать, не в многотиражку, казалось тогда делом почти невероятным). Название магазина ничего мне не говорило.

Зато другой ежегодник – *День поэзии* – был популярен; появиться в нем значило почти то же, что войти в литературу. Вот его-то, *День поэзии* на 1970 год, я и нашел на прилавке магазина, а в оглавлении – фамилию Житинского, того самого, с алебардой.

В 1960-е мы с Житинским иногда сталкивались в коридорах института. Он окончил факультет радиоэлектроники ЛПИ, по престижности не уступавший физ-меху, и был оставлен в аспирантуре, о чем я с моей фамилией не мог и мечтать. Значит, учился он по-настоящему. О стихах мы не говорили. Оба надеялись стать учеными. Он как-то между прочим рекомендовал мне книгу, которую я по его совету и купил: Андре Анго. *Математика для электро- и радиоинженеров*, перевод с французского. Она десятилетиями всюду сопровождала меня – как и другой памятник поры еще более давней: *Дифференциальные уравнения* В. В. Степанова; эту книгу я так и не вернул моей Беатриче после нашей ссоры.

Выходило, что Житинский, человек, показавшийся мне в 1964 году безнадежным по части стихов, времени даром не терял, работал (над собою и другими) – и мое горацианство, мою минималистскую программу, только-только меня осенившую, уже осуществил. Стихи подтвердили эту мысль. Они были – хм, о Ленине:

ДЕНЬГИ

Пока он шел по Петрограду
Среди казачьих патрулей,
За голову его награду
Хранил надежно казначей.

И те, что, запирая двери,
Таились в собственных домах,

Хранили полное доверье
К всесилью банковских бумаг.

Не батальоны и не роты
Их защищали в этот час,
А только мятые банкноты,
В шкафах укрытые от глаз.

Им оставалось меньше суток,
Когда он мимо проходил,
Но этот краткий промежуток
Россию надвое делил.

На острие высокой битвы
Кончалось прошлое Земли,
И были жалки, как молитвы,
Пред нею стертые рубли.

ПУТЬ

Я этот путь представил ясно:
Литейный, залитый дождем,
Блестят перила, и опасность
Подстерегает за углом.

Я задержу минуту эту,
Чтобы окинуть с высоты
Единым взглядом всю планету:
Дороги, рощицы, кусты.

Отсюда и до Сахалина
Моя страна передо мной
Покачивается, как льдина,
В своей накидке снеговой.

Какая страшная громада!
И там, неразличим почти,

Среди ночного Петрограда
Мне виден человек в пути.

Он связан тысячами нитей
С огромной тяжестью страны.
Борец, мечтатель и мыслитель
В нем тесно соединены.

На расстоянии в полвека
Я вижу каждое звено
В цепи поступков человека,
Решить которому дано –

Начать историю сначала
И повести ее с собой,
Куда Россия указала
Ему той ночью ветровой.

Прямо в магазине я эти стихи прочел – и с удивлением увидел: в них нет лжи. Разве Ленин – не историческая фигура? Историческая. Не хуже Кромвеля или Робеспьера. Разве в этих стихах сказано, что он осчастливил Россию или человечество? Ничуть. Сказано, что повернул ход истории, а тут и спорить нельзя. Даже сказано, что он – мечтатель: это ли не вызов? В 1930-е за такое не поздоровилось бы. Автор не славословит вождю, он добросовестно изображает – и думает. Его изобразительные средства скупы и честны. Родной просодии он верен. Рифма суховата, но в этом есть своя прелесть. Конечно, «битвы–молитвы» и «полвека–человека» уж очень резали слух. В 1964-м, во время той памятной встречи в редакции *Политехника*, я говорил ему по поводу его правильных рифм и подстриженных катренов: «Это простота, которая хуже воровства» Сейчас – увидел в этом своего рода аскезу. Человек ведь он умный, а вот поди ж ты, самолюбованием не занимается – и вместе с тем себя на отпущенном ему пяточке выразил. О чем бы мы ни писали, мы ведь всегда о себе пишем. Разве здесь нет портрета автора? Еще какой! Пастернак (тоже писавший о Ленине) явно прочитан и усвоен – притом принят не ранний

Пастернак, с которым все носятся, а поздний (вслушайтесь: «Он связан тысячами нитей с огромной тяжестью страны. Борец, мечтатель и мыслитель в нем тесно соединены...»). К авангарду автор поворачивается спиной – словно его и не было. Просто и ненавязчиво говорит: традиция мне дороже. Даже о своем южно-русском происхождении невзначай сообщает – рифмой «домах–бумаг». Для питерского уха это вовсе не рифма: не проходит ни как точная (z для меня ближе к к, чем к х), ни как неточная (для этого она недостаточно нарочита).

Внимательному читателю тут и другое сказано: автор не стал бы писать о Ленине, будь на то его воля. Самая фактура стиха свидетельствует об этом. Он уступает – но, господа хорошие, разве все мы не уступаем каждый божий день, каждую минуту? Уступаем обстоятельствам, людям, своим слабостям. Общество есть сумма компромиссов. Да что общество! Отправляясь к возлюбленной в дождливую погоду, я выхожу на улицу с зонтиком, а не с плакатом «Долой дождь!». Свидание стоит уступки. А свидание с Музой?!

Я купил *День поэзии* и принес его в подарок Фике, сопроводив всеми этими рассуждениями. Она с рассуждениями согласилась, а от стихов поморщилась. Воспитана была на другом: с пятнадцати лет – на моих детских стихотворных опытах с вывертами, изысками и петухами, затем, с моей подачи, на Блоке, Цветаевой и русском авангарде. Ее московский приятель Володя Гомзяков как-то привез ей в подарок оригинальные издания футуристов – из библиотеки самого Алексея Крученых. Крученых умер в Москве в 1968 году – всеми забытый, в полном одиночестве. *Хлам* из его квартиры выбрасывали на помойку. У мусорного бачка Гомзяков и подобрал *Пощечину общественному вкусу* и прочую сдвигологию, тонкие книжонки, давно ставшие библиографической редкостью и уже тогда стоившие денег. (Потом, в трудную минуту, Фика продала их за бесценок.)

Была в тот вечер у Фики ее соседка Таня – наша одноклассница, ее и моя близкая подружка. Выросли они вместе, воспитывались у «бабушки Карловны», которая Фике приходилась родной, а к Тане относилась, как к родной; дружили с младенчества. Каким-то непостижимым образом обе молочные сестрицы, влюбленные в меня с шестнадцати лет, ревновали меня к дру-

гим, а между собою делили без ссор. Тане тоже стихи не понравились.

Фика похорошела. У нее как раз было очередное лирическое отступление – с инженером Д. А. из Физико-технического института. Главной темой, разумеется, оставался я – так было со школьной скамьи; а может, так ей хотелось представить дело, а мне – в это поверить. Связь без обязательств удобна тем, что делает ревность неприличной.

У меня созрело странное, шальное решение: записаться к Житинскому в ученики. Странное потому, что я до тех пор никогда наставников не искал, мешали заносчивость и застенчивость. Наталья Иосифовна Грудинина, руководившая кружком при Дворце пионеров, не была моим выбором, я попал в ее семинар по возрасту. Правда, и разуверившись в ней, я с нею не порвал; звонил (по телефону 23-09-21) и приезжал на Среднеохтинский проспект (или на шоссе Революции) в студенческие годы, и после окончания. Но наставника, человека, к которому я бы в *подслушание* мог пойти, мне судьба не посылала. А тут – подумал я – послала. Усилием воли, буквально переломив себя, я решился на это испытание.

Осенью 1970 года я напросился к Житинскому в гости.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Ехать далеко не пришлось. Он жил по адресу: Гаврская 11, кв. 287. Дом, отметил я, новый, кирпичный, кооперативный. Квартира, пусть и на последнем этаже, – солидная, получше моей родительской. Переступив порог, я сообразил, что Житинский немногим старше меня, а уже домовладелец. Правда, и расплата была тут: он – глава семьи, у него жена и двое детей. Еще вчера – ни за какой налаженный быт не был я готов платить такую цену. «Не женитесь, поэты!», учил бард-песенник Городницкий. Да и без Городницкого всё было ясно: как можно? Засосет обывательщина. Но это было ясно *вчера*, до моего преобразования, до обращения к горацянству. А тут я увидел другое: что о кооперативной квартире мне и мечтать нечего при моей зарплате и родителях без копейки сбережений, да и семьи, жены и

детей, уют и тепла, у меня никогда не будет. Откуда им взяться? У Житинского же всё это есть, да плюс – ясная перспектива: кандидатская диссертация, членство в союзе писателей. Я вобрал голову в плечи. Таков был первый урок Житинского – еще без единого его слова. Последовали и другие.

Держался он с дивной, недоступной мне простотой и естественностью, без тени рисовки. Простота эта могла казаться даже чрезмерной, простонародной, мужиковатой, но искупалась врожденным *талантом важности* (это качество мемуаристы отмечают у Заболоцкого). Был он плотен, ниже меня ростом, черноволос, с острым носом в бабу-гречанку.

Мы сели у письменного стола с книжной полкой. На столе – следующий информационный удар – стояла пишущая машинка, новенькая эрика. Кто не дышал воздухом шестидесятых, не поймет, что это было за сокровище. Груда золота не вызвала бы у меня большего вожделения, чем этот простой механизм. Это был выход в большой мир. «Эрика берет четыре копии. Вот и всё, и этого – достаточно...»

Я раскрыл папку со стихами, перепечатанными Таней (у нее на работе была шикарная машинка). На первое стихотворение Житинский откликнулся словами:

– Очень здорово!

Стихи были о прошлом. Одержимость прошлым началась у меня в четырнадцать лет и с годами стала настоящей манией. Назывались стихи: *Архив мой*.

Велик архив мой... Вот стихи вам:

Наедине с моим архивом –
– нет, всё не так! Но вот стихи:
Уединяюсь в мой архив
– опять не так! Начну сначала:
Когда, подобные мочалу,
томительно влачатся дни,
когда не смеешь объяснить
тоску, внезапную усталость, –
в своё вчера уединись!

Но это получилось вяло,
растянуто и неумно –

ну, словом, скверно. Мудрено
давать всеобщие советы.
Терпенья, право, больше нету –
довольно! Брошу этот стих –
нескладное собрание строчек,
итог потуг, оставлю их,
пусть пропадают. Жаль не очень.
Но где там! Проповедь не впрок –
в который раз беру перо:

Уединяюсь в свой архив!
О чём, о чём мои стихи
минувших лет? Смешно и странно
перелистать страницы снов –
любви ещё живые раны
и радость... И увидеть вновь,
в набросках силясь разобраться,
того мальчишку, чьих следы
подошв доселе, как плоды
трудов, асфальты Петроградской
ещё единственно хранят –
моих! Ну да, того меня
с физиономией дурацкой!..
О, сколь забавны пустяки –
рисунки, письма, дневники!
Как будто писаны не мною –
смотрю на них со стороны
и полон странной новизною
замшелой этой старины...
Велик архив мой!

Ба, архив?

Но что за дерзкие стихи
строчу я? все подальше спрячу:
не рукопись – самоотдача
есть цель поэзии одна,
как отмечает Пастернак.

Что уж тут могло понравиться Житинскому? Разве что тон.
Горацианство в нем уже наметилось, техника еще оставалась

прежней. Рифма «одна–Пастернак» не казалась мне безобразной.

Дальше пошло иначе. Житинский забраковал все принесенные мною стихи. Критиковал не как я, а спокойно, без резкостей, но тем убедительнее звучали его простые слова. Критиковал с точки зрения здравого смысла. Говорил (хоть и не этими словами), что стихам не хватает естественности, что выразительные средства – вычурны, манерны, а стихи – пустоваты, не обеспечены живым опытом. Похвалил какие-то отдельные тропы, например, сравнение «печальный, как дверь». Я же – впервые в жизни – не раздражение от критики испытывал, а ловил каждое замечание. Мотал на ус. Назвался другом, полезай в кузов.

При следующей встрече Житинский меня удивил и озадачил: он переписал на свой лад оно из моих стихотворений! Кому бы я прежде простил такое?! Стихотворение было чуть-чуть сюрреалистическое: о том, как герой и его возлюбленная (я и Галя Т.) идем на чай с вареньем к Леонарду Эйлеру, и не в XVIII веке, а вот сейчас, на днях. Величайший из петербургских академиков помещен в нашей жалкой действительности, обитает среди нас.

Где-то там, на Петроградской,
В старом доме у метро
Дремлет Эйлер над тетрадкой
С уравнением Клеро.
Тени длинные крадутся
От неонов во дворе.
Вышла в кухню тетя Дуся
За кофейником смотреть.
Тишина такая в мире,
Будто вдруг не стало слов:
Эйлер в маленькой квартире
Тихо дремлет за столом.
(Кто я? Мирный обыватель.
У меня халат на вате,
Кресла, древние, как мир,
Да амфирные кровати, –
Вот и весь старик. Аминь!)

Для меня самым страшным, прямо-таки головокружительным ходом в этих стихах было то, что герой, мое второе я, в математике не смыслит, а героиня, наоборот, находит с Эйлером общие темы:

Рассуждают, боже правый,
О проблеме Дирихле!
Мне же с миною дурацкой
Только слушать и молчать...

Житинский поправил эпитеты и рифмы, сделал их более точными (вместо «Тихо дремлет за столом» поставил «Дремлет, словно рыболов» – чтобы рифма стала отчетливее). Поправил и портреты. Всё это я проглотил. Не взвился на дыбы. Выслушал, поблагодарил, вернулся к себе – и состряпал третий вариант стихотворения: восстановил портреты и всю смысловую линию, а из рифм и эпитетов кое-что принял. Новый вариант Житинскому показывать не стал. Теперь в этом не было необходимости. Наставник драгоценен и полезен, но последний суд будет моим.

Несколько моих стихотворений Житинский оставил на память.

– У меня есть папка под названием «Гении завтрашнего дня», туда и положу, – сказал он – и назвал некоторых *гениев*. Услышав имена Кривулина и Елены Шварц, я хмыкнул, но про себя отметил: он уже «всех» знает; не сторонится ленинградской богемы, к которой я, выбрав *третий путь*, как раз твердо решил повернуться спиной. Нет, с этими я сближаться не стану!

VITA NUOVA

Житинский был не просто умен, не только казался умнее всех, с кем до этого сводила меня рифма. Это был родственник ум. Человек, не прошедший искуса уравнениями, шел у меня за неполноценного; по этому пункту я и классикам скидки не делал. В стихах и суждениях Житинского присутствовала строгость, дисциплина мысли – то самое, чего так явственно не

хватало сочинителям. Логику в школе не проходили. Литературная одаренность словно бы освобождала молодого человека от выверенной мысли. Я наблюдал это подростком: мои ровесники, писавшие стихи, попросту отворачивались от физики и математики. Ни себя испытать не хотели, ни важной для души истины почерпнуть там не чаяли. «Не дается – ну, и пусть идет в одно место! Это для сухарей, для технарей. Нет там ничего для человека, живущего сердцем!» – таков был их подразумеваемый лозунг.

Можно допустить, что поэту подобный подход простителен. Со времен романтизма рассудок в стихах не в чести. Порыв ставят выше стройности. Но уже прозаику без некоторой рассудочности не обойтись, а литературоведу (если он ученый) она просто необходима. Между тем лучшие из литературоведов, самые именитые из них – оставили после себя смехотворные логические ошибки.

Свои стихи Житинский перепечатывал на почтовой бумаге размером А5, тонкой и жесткой, с голубой каймой, 44 копейки за пятьдесят листов. Писал он невероятно много: случалось, по несколько стихотворений в неделю. В первый момент мне это показалось профанацией. Я годами возвращался к написанному, правил, переживал заново, переписывал. Мучился – ибо помнил минуты озарения, сравнивал их с тем, что легло на бумагу, и находил результат жалким. Стихи ведь нетленка. Они с моего стола прямо в вечность отправляются, – а если не так, то грош им цена. Им – и мне.

На Гаврской главенствовал иной подход. Озарения – подождут. Задачу можно и нужно ограничить, ввести в рамки – в точности как это делают ученые при «постановке проблемы»: отвлекаются от картины мира в ее завораживающей полноте, берут фрагмент, а прочее на время забывают. Так и здесь. Берешь свое реальное переживание, не вечное, не всеохватное, ни в какие рамки не лезущее, а сегодняшнее, и облакаешь его в пристойную форму – так, чтобы и другой мог его понять и отчасти пережить. Получается, между тем, небольшое законченное стихотворение, которые и в редакции показать не стыдно. Америка в нем не открыта, душа – не вовсе обнажена, а только приоткрыта, но зато всё сделано честно, без петухов. Если вы-

смеют, то не всего тебя высмеют, не самое сокровенное в тебе, а только вот это сегодняшнее стихотворение. Но ведь я завтра напишу другое!

Ничего этого мне прямо преподано не было, всё это я понял (или домыслил) без слов – и взял за основу. Я сказал себе: всё мною ранее написанное (около двухсот пятидесяти стихотворений) отбрасывается – как если бы его вовсе не было. Восемнадцать лет счастливых и мучительных опытов – в корзину. Начинаю с нуля. Я не написал ничего. Вот сейчас, в возрасте 24 лет, в октябре 1970 года, я впервые начинаю писать стихи. Я самый последний ученик в этом древнем храме. Учиться, учиться и учиться. Ко всему буду прислушиваться. Никому не стану перечить (но и верить до конца), ни на кого не подниму голоса, но и от своего, заветного, не отступлю. Я знаю то, что я знаю (как говорит одна из героинь Гарсиа-Лорки); меня не собьешь.

Схема сработала. Силы – словно удесятились. К концу 1970 года у меня было уже три десятка *новых* стихотворений, которых я не стыдился и спустя десятилетия. Не стыдился бы, будь они даже напечатаны.

В ходе этой метаморфозы я осознал себя консерватором. Увидел, что консервативный подход во всяком случае не менее правомерен и почетен, чем новаторский. Сообразил, что до конца XIX века новизна вообще не выступала как самостоятельная ценность. Она была драгоценна не сама по себе, а лишь в качестве возможной приправы к чему-то несопоставимо более важному. На этом и сосредоточусь, сказал я себе. Пушкин мне ближе дыр-бул-шила.

Житинский посещал литературное объединение Глеба Семенова – не то, центральное, которое само собою заглохло, а в так называемом Дворце культуры Выборгской стороны, на улице комиссара Смирнова, дом 15. Посоветовал и мне туда ходить. В первый момент я отпрянул: как, опять за парту? Но тут же одернул себя: ведь я теперь начинающий! Пример тоже сыграл свою роль. Житинский старше меня, аспирант, а ходит, униженного в этом не видит. Чем я хуже... виноват, лучше? Я именно хуже, хуже всех, – поэтому и пойду. Со дна колодца видны звезды.

Из советских поэтов Житинский выделял двух: ленинградца Александра Кушнера и москвича Владимира Соколова (1928–97). Их книжки я получил у него на прочтение. О Владимире Соколове слышал я прежде только одно: что его как-то Евтушенко в порыве барского великодушия назвал своим наставником. Стихов не читал. Теперь его стихи мне понравились. Суховатые, не вовсе свободные от советскости, они были достоверны, не выдуманы:

Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.

Они со мной ночуют
В моем селе глухом.
Они меня врачуют
Классическим стихом.

Звучат, гоня химеры
Пустого баловства.
Прозрачные размеры,
Обычные слова.

С Кушнером оказалось сложнее. Я знал на память две его скверных строки:

Я в музее – сторонкой, сторонкой
Над державинской синей солонкой.

Их невозможно было расценить иначе как скверные: ненужное *я* (отчего бы автору не забыть о себе хоть на минуту?), два *д* подряд во второй строке, а хуже всего – откровенно притянутая рифма, притянутая и всё же многое говорящая об авторе: о его самолюбовании: «Сторонкой, сторонкой». Дальше и читать не хотелось. Дальше, разумеется, Кушнер выходит на пристойный уровень, но *первое впечатление* (так называлась первая книга Кушнера, выпущенная им в 26 лет) было самое

неблагоприятное. Скука – вот ему имя. Так, между прочим, и многие другие поначалу думали. Говорили: «Кушнер-скушнер».

Преодолеть предубеждение было непросто, но ведь я начал новую жизнь! Отчего не попробовать? Я попробовал. Результат оказался самый неожиданный: я увидел поэта, поэта без оговорок, без эпитета; не советского, а – поэта. Как и Житинский (хотя точнее было бы поменять их местами), Кушнер устанавливал третий путь: он был несоветский поэт – и вместе с тем не антисоветский. Советская власть была данность, неизбежное зло, вроде мерзкого ленинградского климата. Для строительства модели вселенной она не требовалась. В этой гипотезе поэт не нуждался. Всё это было так ясно в стихах Кушнера, что нельзя было не изумиться тупости власти предрержащей: ведь такое отношение было для нее страшнее, чем протест. В книге *Приметы*, к тому же, чуть не каждое второе стихотворение – о смерти. В советское время! Купить книги Кушнера не представлялось возможным, они не залеживались. Года два спустя моя подруга Таня переписала всю книгу *Примеры* на машинке (на почтовой бумаге с голубой каймой), положила в скоросшиватель, и Кушнер подписал этот образчик самиздата – Тане и мне.

Обсуждался еще один автор: Станислав Куняев. Мне поначалу стихи Куняева очень понравились; они укладывались в мою вновь обретенную эстетику консерватизма.

– Его книгу, – сказал задумчиво Житинский, – я не купил. – Речь шла о книге *Путь*. Нужно ли говорить, что потом я увидел его правоту? Консерватизм консерватизму рознь.

Моя новая жизнь была закреплена пустяковым на первый взгляд формальным приемом: я вернулся к начальной прописной, опять стал начинать стихотворную строку с большой буквы. Так делали Житинский, Владимир Соколов, Кушнер. Так делал Пушкин. С кем я оказываюсь, отвергая традицию? Я оглянулся и увидел физиономии самые неприглядные: Маяковского, Крученыха, Евтушенки. Нет, с этими мне не по пути. Стихотворное слово теряет в достоинстве, если строка начинается со строчной.

ВЕСЫ

Стоила ли игра свеч? В чем был мой выигрыш? И был ли вообще?

Был – и несомненный: я словно в чувства пришел, из сюрреалистического пространства детства попал в евклидово пространство взрослости. Жить среди людей стало легче. Но нельзя приобретать, не теряя. Выиграл ли я в главном? Стихи – стали они лучше или нет? Сейчас сравним. Было – вот что:

Демон ли, дух ли, гений –
здравствуй, моя Лигейя!

(Всё, чем земля прекрасна,
всё, чем богата Гея, –
ах, я жалею краски!..)

Невозвратимая, здравствуй!

(Боги, остановите
времени пляс!

Вот уже год не видел
я этих глаз –
ты, кому эта ода
посвящена,
вот уже больше года
ты не одна...)

Творческий бред Эдгара,
мой ли каприз и бред, –

ты – это только чары
в памятном январе,
ты – это кватроченто,
краски и крик камней...

Но объясни, зачем ты
вспомнила обо мне?

Дружит мой разум слабый
с нежностью косолапой,
с маской интеллигента...
Здравствуй, моя легенда!

Это первая половина 1970 года. Живи я в Москве, такие стихи нашли бы отклик. При счастливом стечении обстоятельств — и в Ленинграде тоже, хоть и с меньшей вероятностью. Да и были у них читатели, не вовсе я в пустоте пребывал. Но беда здесь вот в чем: в каждое стихотворение я пытался себя целиком запихать. Юношеский безоглядный максимализм. И в это — тоже:

В Павловском парке —
слова, вознесенные всеу,
слезинки модальные...

(Запахи лета.

Снится мне это.)

Где-то на Карповке ночь кафедральная с аркой...

Это память ревнует.

Прости, моя дальняя!

Знать бы заранее —

верно, мы многое дали бы...

Вот мое алиби:

где-то над Прагою звезды горят, как миндалины, —
весточки галины...

(Было ли, не было —

сказкой, наветом...

Запахи лета.

Снится мне это.)

Ночь кафедральная,

дом отрешенный

и арка;

Карповки шея...

Плачет решетка времен волевых решений,

плачет, как арфа под пальцами ветра-Петрарки...

Перечитываю, и с души не воротит. Вижу мальчишку. С кем не бывало? Но поворот в сторону взрослости требовал всё это разом отринуть. И я отринул. Стихи стали строже и скромнее.

Погода на дворе — ни осень, ни зима.

Снег было лёг, да стаял. Сыро, грязно

И скучно. Отчего? Вот пища для ума!

Но образы в мозгу проносятся бессвязно...
Примусь читать – всё то же. Спят благообразно,
Пылятся над столом ученые тома.

Как ночь темна... Скупясь, отсчитывает Хронос
Минуты длинные, повсюду тишина,
Лишь лампа от стола бросает узкий конус,
Да полка книжная слегка освещена.
Вот сочинений ряд... Чему научит он нас?
Не всюду ль в них сомненье – истина одна?

Их много набралось... Скольжу пристрастным взглядом
По толстым перешлетам, уходящим в тень.
Монтень и Вяземский – они случайно ль рядом?
– Что знаю я? – весь век свой повторял Монтень, –
По мановению чьему приходит день
И ночь? И что есть Бог, земля и атом?

Не более дала его судьба земная
Петру Андреевичу Вяземскому. Он,
Свой лимб восьмидесятилетний завершая,
Такой отвесил современникам поклон:
– Я жил, не разумея, для чего рожден,
И умер, не поняв, зачем я умираю.

Привожу не самое удачное, зато самое характерное. Так я писал в ноябре 1970-го. Стихи – ни хороши ни плохи, меня в них мало, зато и петухов нет. Это – достижение.

НА ВЫБОРГСКОЙ

Длинный стол, старинный, как во Дворце пионеров. Во главе стола (слева, если смотреть от входа) – Глеб Сергеевич Семенов, седой, длинноволосый, насмешливо-добродушный. Мудрый наставник. Я уже догадался, почему он столько души отдаст пиущей молодежи. Царю Давиду в старости подкладывали в постель девушку. Писать стихи легче, если ты всё время

находишься среди пишущей молодежи, а жить и не писать – всё равно что не жить. Не догадывался я в ту пору, что притчу о царе Давиде можно было применить к Семенову и в другом, более непосредственном смысле. Мне, 24-летнему, в голову не шло, что он может нравиться молодым женщинам и сам смотреть на них как на женщин. Ведь он старик, ему 52 года! Своих ровесниц, влюблявшихся в старших, я не понимал и презирал. Они были для меня грязны. По одной «грязной истории» числилось за моими подругами Фикой и Таней. Им я прощал, стиснув зубы, – за давностью, за старое приятельство, за жертвенную, безоглядную любовь ко мне в школьные годы. Прощал не романы как таковые, тут прощать было нечего; где нет обязательств, нет и измены. Прощал романы со старшими. Сам я увлекался только ровесницами. Год вправо, год влево – считались побегом, предательством. Почему? Потому что ровесники – это народ. У поколения, как у народа, – своя истина, для других закрытая. Предать эту истину значило свести любовь к физиологии, – так мне тогда чудилось. Мне и по сей день непонятны мужчины, любящие молоденьких, неприятны девушки, любящие стариков. Позже, когда у меня с Семеновым случались разговоры наедине, он рассказал, что женат в четвертый раз, «и каждый раз это было большое счастье». Я с трудом подавил гримасу отвращения. Счастье возможно только раз. Другое – профанация. Лучше быть несчастным.

Справа от Семенова, за длинной гранью стола, спиной к двери, – Житинский. Он с Семеновым подружился, когда еще ходил в центральное объединение (был туда кооптирован в 1969-м, после конкурса). Он – правая рука наставника. Семенов к ученику благоволит, выделяет его среди прочих, – как и я, с той разницей, что я Житинского почти боготворю.

Другая правая рука Семенова – Юра Нешитов, выше меня ростом (и моложе на три года), добродушный и, что называется, наглядно талантливый, никогда не съезжающий в своих стихах на общие рельсы. На мой новый вкус, впрочем, стихи его чуть-чуть надуманы, недостаточно строги и сухи.

Ты – розовое ухо мира.
Ты по лесу ходила,

По воде плавала,
Потом плакала.
Нету ни ветра, ни горечи,
Никого не нужно долго лечить
И здесь на пригорке сухо.
Я пойду дальше мир чертить,
Радуясь, что он не глух,
Что есть ты,
Его розовое ухо.

Тут полагалось ахать, а мне не нравилось. Слова «ухо мира» сливались на слух в одно, в какую-то ухомиру. Я предложил Нешитову взять псевдоним: Юрий Ухомирский. Он не послушался.

Другое стихотворение начиналось так:

Мне досталось по наследству
в суматохе тех времен
небольшое королевство –
королевство Арагон.

Семенов торжествующе вопрошал:

– Каких *тех* времен?

И был прав. Поэзия не терпит наполнителей. Затрудняешься дать определение – не пиши стихов. Я тоже возражал, но уже по линии истории: говорил, что «в суматохе тех времен» Арагон был очень даже большим королевством, не меньше Англии, а небольшим была Наварра. В 1990-е, с наступлением свобод, Нешитов вовсе перестал писать стихи и занялся делом.

Слева от Семенова, вдоль другой длинной грани стола, лицом к входу, спиной к стене, – его левая рука: я. Оказалось, что даже новые мои стихи, гораццианские, которые я сам втайне чуть-чуть презирал, рассматривая их как разбег перед прыжком, – сразу выделили меня среди прочих кружковцев. Чем? Ясностью, отчетливостью установки. Именно это через несколько лет и отметил на прощание Семенов, сказав: «Твое дарование – самое рельефное из всех, которые прошли передо мною за последние пятнадцать лет». Он не сказал: самое ори-

гинальное, самое сильное (хотя присутствовавшая при разговоре Фика запомнила: «самое оригинальное»). На такое – я не тянул. К Семенову ходил не только Житинский, через него, за долгие годы наставничества, прошли Горбовский, Кушнер, Бродский, Бешенковская, Стратановский, Эзрохи, Игнатова и еще некоторые из тех, чей талант не оспоришь. Он вовсе не имел в виду противопоставить меня им, он хотел сказать другое: что я – пурист. Еще бы! Никто кроме меня в ту пору открыто не называл себя в Ленинграде консерватором в эстетике. Никто не отказался от усеченных, остаточных рифм с паразитирующей согласной на конце (типа «демократ–вчера»). Только это и прозвучало в неоднозначной похвале Семенова, – но к середине 1970-х мне уже ничьи похвалы были не нужны.

Другое, что выделяло меня среди кружковцев в 1970–71 годах, была моя задиристая критика. Я оказался горяч и красноречив. Стихи каждого из нас «разбирались». Участник готовил подборку, стихотворений в двадцать. Семенов назначал ему двух оппонентов. На следующем занятии испытуемый читал, затем выступали оппоненты, за ними – все желающие, а в заключение наставник произносил свой приговор. Оказалось, что приговор этот нередко совпадает с тем, что уже сказал я, – только звучит мягче. Я был резок. Находя ошибки и просчеты в стихах других, сводил счеты с собою прежним. Заявило о себе, смею думать, и мое образование. Я рассуждал, смотрел на вещи с разных сторон, пытался объяснять, тогда как для большинства главным козырем было инстинктивное «нравится – не нравится». Был я задиристо резок и в похвалах, хвалил же нечасто.

Совсем удивительным для меня стало вот что: на общем фоне я не оказался таким уж малообразованным, каким себя знал. Детское, студенческое чтение не прошло даром; отсюда можно было черпать. В студенческие годы тоже кое-что осело, хотя беллетристики я в ту пору читать не мог напрочь: всё казалось чепухой, не исключая и вдруг ставшего модным Булгакова. Я продекламировал у Семенова кусок из моего цикла *Летейские воды* (конца 1970-го), где варьировался рефрен:

Спешат поколения, нисходят народы
в летейские воды, в летейские воды.

Кто-то из товарищей по несчастью не понял, о чем я бренчу: «Литейные воды?». Семенов весело рассердился – и, обращаясь ко всем, провозгласил:

– Товарищи, читайте поэтов!

Не смешно ли? Все, сидевшие за столом, писали стихи, а *поэтов*, настоящих поэтов, поэтов прошлого, не читали. Читали советских, сиюминутных, тутошних. Это и рассердило Семенова. Я, впрочем, не от поэтов получил свою склянку с водой лагуны, а от Павла Муратова (1881–1950), автора *Образов Италии*. В ту пору он, эмигрант, был полузапретным писателем. Его двухтомник 1912 года, чудом вынесенный на время из спецхрана университетской библиотеки, попал в 1969 году и ко мне, из рук Тани или Фики. Читали взахлеб – не то, что Солженицына. С опозданием лет этак на сорок Муратов сообщал России внезапно вспыхнувшую в Европе (стараниями англичан) любовь к Боттичелли, – а мы, пасынки и падчерицы эпохи, получили эту новость с опозданием еще на полвека и переживали, как открытие.

И вот с таким-то случайным багажом я выделялся во «дворце культуры». А между тем «мои университеты» еще не начались. Начались они по-настоящему в январе 1971-го, в кружке Кушнера. Именно там картина мира достроилась.

Я Семенова не полюбил. Как поэта – едва признавал. Его блокадных стихов, страшных, правдивых, но с точки зрения собственно поэзии всё же незамечательных, не знал, они оставались в рукописи (позже он как-то сказал мне, что у него лежат несколько готовых макетов книг стихов). В Публичке я выяснил, что один сборник Семенова, начала пятидесятых, назывался *Плечом к плечу*. Такое и открывать не захотелось. Из его стихов *моего времени* я запомнил четверостишие:

Чудо-техникой меня
трудно огорошить,
но вчера средь бела дня
я увидел лошадь.

Рифма *огорошить–лошадь* была мне смешна своей вычурностью. Просто в глаза бросалось, что всё дело в ней, что тан-

цуют от нее, как от печки. Антитеза тоже казалась смешной: «Я – таков-то, но вот я увидел то-то». В итоге выходила манная каша – особенно рядом со стихами Житинского; его и только его из всех выборжцев я считал состоявшимся поэтом – и ставил много выше Семенова. Был, правда, еще мой ровесник Саша Комаров, в чей талант я поверил. Вот обломок из его тогдашнего стихотворения:

Ощущенья глубины
не хватает мне пока.
Так осадки иногда
не хватает кораблю.

Были Юра Красавин, уже печатавшийся, чуть старше, тянувший в сторону народного, посконного; был Саша Соколов... остальные растворялись в тумане левого от меня конца стола – и теперь совсем растворились.

На строфу Семенова я потом откликнулся пародией, которую никогда никому не показывал: «Чудо-рифмою в наш век трудно огоршить. Не оценит человек. Тронет, разве, лошадь...»

Житинский (он и в этой компании оставался для меня не просто старшим товарищем, а наставником) критиковал не так живо, как я. Возражать начинал он обычно этак раздумчиво – со слов: «Я не знаю, но...». Его замечания всегда были умны и верны, но – скупы и прохладны. В них было больше юмора, чем страсти. В ту пору он был обаятелен, умел улыбаться. Я смотрел на него влюбленными глазами, ловил каждое слово.

Иногда приходили к нам в объединение «настоящие поэты», члены союза писателей. Помню выступление только что принятого в союз Александра Шевелева, а из его рассуждений – слова о том, что он, подобно Мандельштаму, «хочет сейчас» стихов густо метафорических, с союзом *как*. Получалось ли? Помню строфу:

Он этой музыкой меня
Распял, как голубь на карнизе.
Какое завершение дня!
Как будто завершение жизни.

Это, хм, не совсем Мандельштам; но в целом стихи Шевелева мне понравились. Впоследствии молва назвала его анти-семитом, однако ж у меня не было случая в этом удостовериться. Что его патриотизм – с душком, выяснилось через несколько лет. Московская газета *Советская Россия* вышла с его стихами на первой полосе. Стихотворение начиналось анекдотически: «В России сеют и сажают...»

Рекомендацию в союз писателей Шевелеву дал Кушнер. В 1971-м или 1972-м Шевелев сел... нет-нет, не подумайте лишнего: сел в какой-то редакции (кажется, в *Авроре*), я собирался отнести туда подборку; Кушнер, уже поверивший в меня, обещал помочь и добавил: «Я с Шевелевым могу говорить, *как хочу*». Но вскоре стало ясно, что он ошибался; членство в союзе *уравняло* Шевелева с Кушнером; теперь и Шевелев мог говорить, *как хотел*. Потом в той же редакции сидела в отделе поэзии Лидия Гладкая, антисемитка уже несомненная.

Собирались в Выборгском дворце по пятницам, к семи часам, расходились около девяти. Был между сессиями перерыв. Семенов, Житинский и другие отправлялись на лестницу курить, за что я их тихо презирал.

Я в ту пору жил на Гражданке (дом 9, квартира 20), в пятнадцати минутах ходьбы от Политехнического института. Работал – если это можно назвать работой – ровнехонько напротив, по адресу: Гражданский проспект, д. 14. На работу ходил не каждый день. Когда стихи пошли сплошной стеной, как цунами, бегал читать их Житинскому во второй учебный корпус Политехнического, где тот аспиранствовал. Вход в этот корпус был по пропускам. Я показывал старику-вахтеру мой просроченный студенческий билет и обычно проходил беспрепятственно. Мы усаживались на широком подоконнике на лестнице и обменивались листками с голубой каймой. У этого подоконника в декабре 1970-го Житинский сказал мне:

– Быстро же ты справился с формой!

Я, скромный мальчик, поблагодарил его, а про себя усмехнулся. Не стал ему напоминать, что сочинительствую с шести лет (не с двадцати двух, как он), что я *сменовеховец*: начал новую жизнь, и мне не нужно учиться азам. Не стал и другого говорить: что в области формы – даже и он мне не судья. Как

ни восхищался я Житинским, а всегда чувствовал: каждое из его стихотворений легко можно улучшить, усилить. Говорил ему об этом, да он не слушал. Он был акварелист, человек первого мазка.

Чего я не понял тогда, у подоконника, так это встречной усмешки Житинского, тоже невысказанной. Похвала была с двойным дном. Мои новые стихи почти все сплошь были литературными упражнениями, не в достаточной степени обеспеченными жизнью. Какой контраст с тем, что писал он! Гори огнем форма, когда умеешь точно и правдиво высказать то, что действительно пережил. Точно и правдиво! Таковы и были его стихи. Ему было не до формы потому, что он научился душевной фактографии, достиг достоверности, перед которой (я и по сей день так думаю) следовало бы шляпу снять и моему тогдашнему кумиру Пастернаку, тоже сверх меры заворуженному формой.

Когда, спрашивается, я работал на благо общества? Стихи заслонили всё. А ведь я состоял младшим научным сотрудником Агрофизического института, что-то там читал, писал статьи, считал на БЭСМ-4, решал какие-то матричные уравнения, выступал на ученых семинарах. Этого – как не было в моей жизни.

ДАЧА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

В АФИ, в лаборатории Полуэктова, настолько преобладали евреи, что я помню только трех носителей русских фамилий: Сашу Брежнева, Борю Положенцева и Таню Неусыпину (по некоторым признакам, еврейку). Тон задавал Лева Гинзбург, молодой выпускник мат-меха, очень способный и деятельный, к 25 годам написавший кандидатскую диссертацию. Галя Резник, Саша Гиммельфарб, Галя Коваль, Ира Зубер, Клера Левина, Ефим Михайлович Полищук (из старших), Гарри Юзефович, Саша Гаммерман, Аня Фуршадская какой-то Герлих, какой-то Шмуйлович, Лева Шварц... Я в этой компании чувствовал себя национальным меньшинством. Передавали реплику кадровика: «Вот ужо разгоню эту синагогу!». Разгонять не пришлось, вскоре начался массовый отъезд.

В соседних лабораториях и отделах синагога была не столь явно выражена, но тоже не забыта. Этажом выше сидели Марголис и Кац. Лиц не осталось, запомнились только фамилии. Я думал тогда, что *кац* – всего-навсего *кот* в переводе с немецкого (есть же по-русски фамилия Котов). Годы спустя узнал, что это – аббревиатура слов *коэн цадек* (благочестивый священник).

Где-то там, этажом выше, у Каца или Маргулиса, нашел Женя Левин, мой бывший однокашник по ЛПИ, а теперь коллега по лаборатории Полужктова в АФИ, свою будущую жену Вику Дегтяреву. В студенческие годы он был, хм, Геной Лившицем. Мы учились в одной группе, вместе играли в волейбол и в футбол, а после окончания в 1969-м вместе распределились в АФИ. Потом как-то выяснилось, что мы с ним даже дальние родственники – через московскую родню, причем я, будучи на год моложе, прихожусь ему восьмьюродным дядей. Женя был в ту пору моим ближайшим другом, которого, однако ж, ровней себе я не считал (в науках он не блистал, стихов не писал). Мы с ним обменялись прозвищами: я называл его Жидовищем («можно быть евреем, но не до такой же степени!»), он меня – Юродищем. Чувство юмора у него было дивное, пессимизм – с задором; на этом дружба и держалась.

С другой парой из лаборатории я приятельствовал не близко: с Галей Йоффе и Гришей Эпельманом; оба они были годом старше. Галя мне нравилась, но едва я отличил ее, как выяснилось, что с мрачноватым Гришей у них всё решено. Гриша был математиком, Галя – биологом, «считала мух» (занималась генетикой дрозофилы) под руководством легендарной Раисы Львовны Берг, тоже состоявшей в нашей лаборатории. Десятилетия спустя, в 1990-х, мы с Раисой Львовной подружились, я бывал у нее в Париже, но в 1970-м она меня не замечала. Еще бы! Она дружила с Сахаровым, знала многих интеллектуалов-правозащитников, сама выступала против дикостей режима, была знаменитым ученым – и дочерью ученого еще более знаменитого, академика Льва Семеновича Берга, доказавшего частичную неправоту Дарвина. А я кто такой?

В компании с Галей, Гришей, Женей и Викой мы сняли на зиму дачу в Зеленогорске – для воскресного катания на лыжах

и любовных свиданий. Из не-АФИ-шных людей, к неудовольствию прочих, участвовал в этой складчине с подачи Жени Левина еще Валера Лобан, друг Жени, работавший в Политехническом, со своей подружкой Ниной Кольцовой. Постоянной подружки не было только у меня. Из упомянутых здесь – в Зеленогорске со мною бывали Фика и Таня. Из относящихся к рассказу – еще и Наташа П. из семеновского литературного объединения. Женя и Вика иногда ходили со мною (в качестве слушателей) к Семенову, а потому и к Кушнеру. На одной из пятниц, заметив, что я обратил внимание на Наташу П., Вика сказала Жене:

– Вот увидишь, завтра он с ней приедет в Зеленогорск.

Так и вышло. Стихи Наташа писала посредственные (помню строчку: «Да, я одна, и мне никто не нужен»), остроумием не блистала, училась на французском отделении филфака. После нескольких встреч я заскучал. Никакой роли в моей жизни она не сыграла. Наоборот, даче – предстояла роль.

В ту пору Новый год был для меня важным праздником. В декабре 1970-го выяснилось, что для встречи наступающего 1971-го у меня нет лучшей компании, чем дачная, лучшего места, чем дача. Я загрустил. Не было и подруги, по-настоящему владевшей моим воображением. Выбирать приходилось из небольшого кружка давних безотказных приятельниц, а среди них – из тех, кто способен поддержать беседу на не совсем безразличные для меня темы; на деле – опять между Фикой и Таней. Я позвал Таню. Никогда я не замечал, кто во что одет, а тут нельзя было не заметить: серое в косую белую полосу ватное пальто с белым воротником из дешевого меха Таня носила уж слишком давно. Это пальто и шапка к нему, из такого же меха, шиты были ее матерью, уборщицей и домашней портнихой, женщиной суровой, хлебнувшей горя. Она между делом и танину подружку Фику обшивала, притом бесплатно. Давно замечено, что бедным помогают бедные.

Были: Жидовище с Викой и Лобан с Ниной. Пир выдался убогий, под стать дачной обстановке. Были привезены с собою какие-то салаты, какие-то закуски. Пили умеренно. В окно второго этажа смотрела мохнатая заснеженная ель. Свеча горела на столе, свеча горела...

Таня как раз незадолго до этого достала где-то Камасутру по-английски, с началом русского перевода, который мы с нею своими силами пытались продолжать. Спотыкались, не хватало английского, не понимали метафор и иносказаний. С теории то и дело сбивались на практику. Застенчивость и робость оставляли Таню в лучшие минуты. Там, в Зеленогорске, я вдруг словно впервые увидел, с какою полнотой и силой она эти минуты переживает. У меня даже мелькнула мысль, что застенчивость и робость – необходимые предпосылки этой полноты и силы. Застенчивость, робость – и опыт.

Первого января 1971 года утро выдалось солнечное, и мы решили играть в футбол. Снег лежал по пояс. Женя Левин с деловым видом остановил снегоочистительный бульдозер и объяснил бульдозеристу, какого размера площадку нужно очистить. Тот сперва сделал, что просили, а потом спросил, зачем. Человек, видно, был незлой. Услышав ответ, даже материться не стал.

КУШНЕР И БОЛЬШЕВИЧКА

Стихами Кушнера, его книгой *Приметы*, я увлекся. Это было сухое пламя, с прикровенными, но всё же явными наполеоновскими амбициями. Первая его книга была, что называется, проходной, с «паровозами» типа

Вот он, старый «Русский дизель»!
Постоим с тобою тут.
На заводе «Русский дизель»
Испытания идут...

Кушнер проскочил в печать в период послесталинской оттепели. Пропустили его по ошибке: он умел казаться маленьким, играл маленького. Помогли тут и его крохотный рост, и сдержанность, казавшаяся скромностью, и его чистенькая чиновничья внешность. Он разом обманул и верхних, и нижних. Почти так же его воспринимали и во *второй литературе*, в литературном полуподполье. «Всегда есть несколько маленьких аккуратных евреев, работающих на заднем плане русской словесности; это еще один; в Маршаки не метит, сталинской

премии не получит; пусть живет!» – такова была подсознательная логика власти, проморгавшей этот гейзер. Бродский говорил, что Кушнер родился с билетом союза писателей во рту.

Будь Кушнер моим ровесником, его шансы были бы невелики. Разделявшие нас десять лет пришлось на излучину века. Оттепель кончилась, все двери были закрыты. Особенно – для людей с неудобными фамилиями, хотя дело не сводилось к этому: не было – физически не было – вакантных мест, культурная среда Ленинграда была перенасыщена. (То же самое наблюдалось и в науке.) «Автобус не резиновый!». В Москве было несопоставимо больше Lebensraum'a. Но человек всегда надеется. Надеялся и я. Собирался плетью обух перешибить. Решил тоже спрятать амбиции. Какой-то «паровоз» из себя выдавил (по счастью, он не сохранился даже в памяти). Одно я чувствовал ясно (держа в голове Бродского): поза поэта в тогдашней затхлой провинциальной России – дикая, нестерпимая пошлость. Время возвеличивает ничтожества – неужто я хочу подняться над толпой, пополнить их ряды? Нет, лучше остаться в толпе. Главное – стихи. Пока их не отняли, можно жить.

Прошел слух, что Кушнер ведет где-то литературное объединение. Сообщил мне об этом Житинский. Сам он туда не собирался, а мне – посоветовал. Самому ему, вероятно, мешала гордость. Он был всего пятью годами моложе Кушнера, до двадцати двух не писал вовсе, в тридцать – ходил в начинающих, а тот уже в 26 лет сделался членом союза писателей, «профессионалом». Во всём прочем они были созвучны настолько, что теперь, оглядываясь, хочется сказать: Житинский и был настоящим Кушнером, больше, чем сам Кушнер, – был тем самым «человеком, окликнутым в толпе», как в ту пору определяли поэта Кушнер и его окружение. Название *Прямая речь* больше подошло бы книге Житинского, чем книге Кушнера.

Встречу с Кушнером я откладывал, как откладывают наслаждение. Написал несколько стихотворных упражнений, предвкусывающих ее. Одно начиналось так: «Я поеду к Кушнеру, поеду к той вечерней школе на завод, где, как и положено поэту, он преподавание ведет...» (Кушнер в ту пору еще не вышел на вольные хлеба), а кончалось: «Преданный последний ученик» (хоть я и не сомневался, что буду первым учеником). Жалкие стишки. Другое,

тоже не ахти что, шло с посвящением Кушнеру, перекликалось и полемизировало с Кушнером, но слышен в нем не Кушнер, а Пастернак (и моя тогдашняя эстетическая программа):

Латынь практична и стройна:
Военных правил и законов
Впитала логику она
И окрики центурионов.

Построены, сочленены
Из жестких угловатых линий,
Здесь сами буквы дисциплине
Расчетливой подчинены.

Так, выслушав слова приказов,
Смыкается за рядом ряд –
И хмуро воины стоят,
Себя мечами опоясав.

В январе 1971-го мы с Романовым и Вероникой отправились к Кушнеру на Лиговку, точнее, на Воронежскую улицу, в библиотеку ткацкой фабрики *Большевичка*. Здесь было тихо и бедно, не то что у Семенова. Трое, много четверо участников кроме нас. Крохотная библиотека, вся в одной комнате, два сдвинутых квадратных стола советского производства; рядом – стеллажи; за стенкой – маленький зал в голубых тонах, очевидно, бывшая гостиная дореволюционной квартиры (его потом, случилось, для нас открывали).

Регину Серебряную, библиотекарку, организовавшую объединение, я прежде встречал у Елены Вечтомовой. Была она невероятно толста (по контрасту со своей стройной подружкой Вероникой), мне показалась сперва дамой очень ученой и строгой, но над ее стихами я ахнул: так они были беспомощны и провинциальны, даже – прямо бездарны.

Встретил я там и мою ровесницу Таню Котович, чьи стихи произвели на меня сильное впечатление еще во дворце пионеров (где я был ее оппонентом). Как она изменилась! Тяжелое, испитое лицо, металлическая коронка на переднем зубе. Рабо-

тала чуть ли не грузчицей. А я думал, она уже член союза писателей или на пороге вступления. В 1966 году (ей было двадцать лет!) в *Дне поэзии* было напечатано целых шесть ее стихотворений – столько же, сколько у тогдашнего начальника ленинградской поэзии, ужасного Александра Прокофьева. В 1971-м – Таня показалась мне конченным человеком; или, во всяком случае, бесконечно далеким, чужим; говорить с нею не хотелось; я никогда и не говорил с нею – вообще ни разу. А стихи по-прежнему были замечательны:

Отсырев, потемнели дома.
Продают мандарины в палатке.
В виде мокрого снега осадки.
Ленинградская брезжит зима.

Для того, кто родился не здесь,
Вероятно, едва выносимы
Наши смутные серые зимы.
Пахнет ржавчиной камень и жечь.

Проторчу на работе весь день
Или дома. Ступать неохота
В непролазное это болото.
Всё измокнет, чего ни надень.

Но люблю этот хмурый снежок,
Талый шум, что проходит дворами
В час, когда зажигается в раме
Мой глубокий ночной огонек.

Позже кружок Кушнера регулярно посещали приведенные мною Владимир Ханан, Константин Ескин и Александр Танков (не от *танка*; ударение на *о*), а читать приходили, на моей памяти, Зоя Эзрохи и Елена Игнатова. Вероника, не любившая Кушнера, бывала регулярно. Романов же отсеялся, у Вечтомо-вой ему было уютнее.

Иные не приживались, потому что не нравились; среди них – Элеонора Сапожникова, заметно старше нас, при детях, в том воз-

расте, когда нормальных людей стихи уже отпустили. Кушнер, уверяла она, назвал ее за этот подвиг «мужественной женщиной». Я попытался объяснить ей, что это словосочетание (если оно было произнесено) – не совсем похвала; она меня не услышала.

Наездами бывал на Большевичке Леопольд Эпштейн, двоюродный племянник Регины Серебряной, выпускник московского мех-мата. Родом из Винницы, жил он в то время в Новочеркасске. Стихи его не укладывались в мою парадигму, но я чувствовал, что они – подлинные. В памяти держу кое-что по сей день; как водится, не самое значительное:

В гордом храме Мельпомены
я служил рабочим сцены,
слезы, клятвы и измены
наблюдал с колосника.
С той поры на эти сцены –
слезы, клятвы и измены –
я взираю свысока.

В начале 1980-х я на какое-то время увлекся его стихами. Мы переписывались. Встречались в Ленинграде, а потом в Америке, где Эпштейн нашел читателей и слушателей (он в 1990-е годы перебрался в Бостон). Балтиморский журнал *Вестник* при жизни Бродского назвал Эпштейна лучшим поэтом эмиграции.

С Кушнером Эпштейн тоже переписывался, но когда одна из книг Кушнера вызвала у него какие-то замечания, ответа на письмо не последовало. Мой собственный опыт оказался позже в том же духе: от нас, младших, Кушнер не хотел слышать критики.

Из самой сердцевины ленинградской богемы, из *второй литературы*, напроць не желавшей знать *первую*, – наведывался Виталий Дмитриев, на поверхности – «пьянь и рвань», повеся. К своим стихам и к себе он словно бы не всерьез относился – и умел сообщить это чувство другим, думаю, не без умысла. Когда началась эмиграция, платонически мечтал об отъезде, запечатлел эту мечту чудесным вздохом:

Не дают Виталию
выехать в Италию.

Уезжал я, разумеется, не в Египет, а в противоположном направлении. Египтом для меня была Россия. По этому пункту – о том, как относиться к России, – мы с Игнатовой, в конце концов, и поссорились. «Бедное семейство» в опубликованной версии (еще до прекращения отношений) перешло в «некое семейство». Вероятно, ей показалось, что мы разбогатели.

Появлялись на Большевичке и совсем чужие люди, в том числе – подосланные; мы настораживались, говорили не так открыто, как «в своем кругу».

С самой фабрики пишущего народу не было. Изредка заглядывали какие-то грамотные работницы, но не задерживались, сразу начинали скучать и пропадали. При фабрике издавалась многотиражка, где потом и нас иногда печатали, разумеется, рядом со стихами фабричных. Из производственных стихов помню такие:

Мы строим высокое здание,
Отвагою светлой полны.
Партком нам дает указания,
А мы выполняем планы.

На первом для меня занятии на Большевичке разбирали стихи невзрачного молодого человека: бледное лицо, печальные глаза, нос с горбинкой. Технически стихи были не блистательны, даже, пожалуй, чуть-чуть косноязычны; им не хватало игры и звукописи, а вместе с тем они сразу меня задели – глубиной и подлинностью, невыдуманной правдой и какой-то трагической безысходностью.

И вечер был весел, и ночь коротка,
Спокойная, без сновидений,
За окнами влажно шуршала река,
И воздухом птицы владели.

Но то, что мы ночью любовью зовем,
Не сияясь подыскивать имя,
С великим трудом вспоминается днем,
Как будто случилось с другими. (...)

Автора звали Валерий Скобло. Я изумился: как жить с такой фамилией! Как писать и подписывать стихи? Это ведь почти руга-

тельство. Неужели человек не понимает, что нужен псевдоним? Но человек как раз всё понимал и сознательно не брал псевдонима. Фамилию он носил легендарную. По легенде, когда генерал Михаил Скобелев отличился перед престолом, царь сказал ему: «Проси, Скобелев, что хочешь!»; а тот будто бы ответил: «Хочу, государь, чтоб всех евреев с фамилией Скобелев отсель переименовали в Скобло...». Разве с такой фамилией расстанешься?

Позже я сообразил, что облик писателя, встающий из его сочинений, вытесняет образ, создаваемый фамилией. Кушнер в переводе означает скорняк. А Блок? Тут – само отрицание поэзии. А Пушкин? Тоже не самые приятные ассоциации. О моей собственной неблагозвучной фамилии я тоже, естественно, помнил. С детства знал, как люди от нее морщатся; как меняется их отношение ко мне, едва они услышат или прочтут мою фамилию.

С Валерой Скобло мы потом подружились, не тесно (и не безмятежно), но надолго. Людей более самостоятельных и своеобразных я не встречал. От честолюбия он был свободен до неправдоподобия. Выпускник мат-меха, серьезный математик, он даже попытки не сделал защитить кандидатскую диссертацию (иные его ученые статьи, по слухам, и на докторскую тянули). Всю жизнь проработал в одном учреждении, закрытом «почтовом ящике». Никогда не интересовался и литературной карьерой. С наступлением свобод вступил, правда, в союз писателей, но как раз когда это перестало быть честью и привилегией.

Некоторые его стихи я полюбил на всю жизнь.

На мосту, продуваемом ветром,
Постою и помедлю с ответом.
Ветер нас обжигает до слез.
На снежинки, летящие косо,
Смотришь, не повторяя вопроса,
Позабыла уже про вопрос.

Нелюбимая, ты мне дороже
Жизни. Страшно и больно до дрожи
За тебя, и никак не помочь.
Как вибрирует мост под ногами!
Вместе с ним мы вибрируем сами,
И ознобом охвачена ночь.

На ветру, над застывшей Невой
Мы молчим и не знаем с тобою,
Как еще наша жизнь повернет.
Мы молчим. Где-то за облаками
Над рекою, мостом и над нами
Еле слышно гудит самолет.

Это стихотворение написано чуть позже, в 1973 году. В первой строфе, решаюсь думать, присутствует отклик на стихи Житинского, которые Скобло мог услышать в кружке от меня. «Нелюбимая, ты мне дороже жизни» – тоже отклик, почти повтор. Так думает, если не говорит, герой Грэма Грина, по чудному совпадению носящий фамилию Скоби. Но не слова, а переживания становятся событиями в художественном пространстве. Иных слов не скажешь, не пережив, а если и скажешь, тебе не поверят. Наоборот, когда пережито, доверие возникает сразу; никакой Грин тут не помеха.

Писать стихи Скобло начал поздно (еще один случай «человека, окликнутого в толпе»). Писал только от *потребности в исповеди* перед собою (в Бога никогда не верил), но – на первых порах – писал с оглядкой на Бродского. Что за беда! Подлинность и сила в лучших стихах Скобло были таковы, что он сам оказывал влияние на окружающих – например, на меня и, странно вымолвить, на Кушнера. На протяжении двух лет я с некоторым изумлением наблюдал, как ученик служит донором учителю. Интонационные находки Скобло перекочевывали к Кушнеру и у него расцветали. Ни Скобло, ни кто-либо другой из нашего кружка не мог, конечно, ровняться с Кушнером в мастерстве, стихи у наставника выходили в ту пору изумительные, но я видел, откуда они растут (а сам Скобло видеть отказывался).

Кушнер брал не у одного Скобло. Таков вообще был метод его работы – да и только ли его? Поэт не то что вправе заимствовать, он не может не заимствовать; его труд, как и вообще любой труд, коллективен. Разве «гений чистой красоты» – пушкинские слова? Они и Жуковскому не принадлежат, они перевод с немецкого, они – насквозь немецкие по своему внутреннему строю. И тут всё корректно. Поэты перекликаются,

опираются друг на друга. Вполне оригинальный поэт никому не нужен, он – вне культуры. В поведении же Кушнера была некорректность чисто советская, обусловленная режимом: он-то был допущен к гутенбергу, а брал у тех, кого не печатали, – как если бы они были в равном с ним положении. Вот, например, стихи Тамары Буковской, написанные в 1967 году, когда ей было девятнадцать лет:

От Мойки-реки до Фонтанки
по Крюковке прямо иди...
Сначала Голландскую арку
на Мойке оставь позади.
Потом постепенно увидишь
два мостика, сад и собор,
и тоненький крест колокольни,
и стройки дошатый забор;
мост Ново-Никольский – постройки
великих строительных лет,
и гнилостный запах нестойкий
бульвара и медленный свет...

Оборвем на минуту эти замечательные стихи и процитируем не менее замечательные и очень известные стихи Кушнера 1970 года:

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу...

Всё тут было бы здорово, всё – правильно, будь стихи Буковской напечатаны. Но они – не были.

Совсем другой смысл получали при этом и не раз звучавшие назидательные, к нам обращенные, слова Кушнера: о том, что печататься – не главное. Он, помнится, всё Мандельштама нам цитировал: «А Иисуса Христа – публиковали?». Но никто из нас не чувствовал себя мессией, и мы знали, что без читателя – не то что писать тяжело, а выжить трудно. У Мандельштама, когда он на Христа кивал, читатель был (но каким отчаянь-

ем звучит его воронежское «Читателя, советчика, врача!»); у Кушнера в 1970-е – тоже, и какой еще! А мы задыхались.

Я долгое время убеждал себя, что у этой прогулки вдоль Мойки мог быть общий источник: прочли два поэта одну и ту же книгу – и пересказали ее по-своему. Мандельштам разрешил всем нам пересказывать прочитанное. Но тогда спросим: отчего в обоих случаях появился трехстопный амфибрахий? И эти две строки – «и гнилостный запах нестойкий» у Буковской, «Глотая туманный и стойкий» у Кушнера, – не слишком ли родственны? Несложен и механизм этого заимствования. Он, скорее всего, был таков: стихи Буковской были читаны при Кушнере или попались ему на глаза в списке, он их прочел и забыл, а потом – *вспомнил* как свои. Мог при этом и Буковскую вспомнить, память у него прекрасная, но сказал себе: а кто она такая?! Я-то поэт, а про нее еще неизвестно. Не слышать, не брать всерьез младших – весьма распространенное свойство среди пишущих. Виктор Соснора – тот прямо говорил, что после его поколения в русской поэзии ничего не произошло, и только-только не добавлял: и произойти не может.

Валера Скобло был моложе меня на год, но сложился раньше. Я на Кушнера, по большому счету, никак не повлиял, но без пустякового заимствования не обошлось: муха, ползающая у меня по карте мира, ненароком переползла в стихи Кушнера. Говорить об этом не стоило бы, не случись некоторого последействия. Свои стихи с мухой Кушнер нам на Большевичке читал – и сказал при всех, что либо эпиграф из меня возьмет (вероятно, с инициалами вместо фамилии, ведь я был никто и звать никак), либо посвящение поставит (тоже – обозначив меня инициалами). Этого не случилось. На конференции молодых писателей Северо-Запада в 1978 году Владимир Рецепттер упрекнул меня в том, что муха моя – кушнеровская. Пришлось объяснять, что она ползет в противоположном направлении: от меня к Кушнеру. Мои стихи с мухой («Восседает Смердис на троне...») тоже к тому времени опубликованы не были.

К этому, однако ж, и сводится всё дурное, что я могу вспомнить о раннем Кушнере. Остальное, главное – было хорошим. Он оказался идеальным наставником: умным и тонким ценителем стихов, по части литературной невероятно образован-

ным, а в своем отношении к нам – момент очень важный – сдержанным. Сухое пламя стихов, холодное пламя отношений – чего еще? Панибратство с младшими меня бы оттолкнуло.

Никто из нас не был слеп, все понимали, что мы сами получаем от Кушнера несравненно больше, чем он от нас. Получали – и в ходе обсуждения наших стихов, и через его стихи, и – это особенно важно – при обсуждении стихов больших поэтов прошлого. Этим (спасибо Кушнеру) Большевичка отличалась от прочих тогдашних литературных студий; к назначенному дню мы готовились, перечитывали, а потом читали вместе и обсуждали классиков: Пушкина, Тютчева, Анненского, Блока, Заболоцкого, Ходасевича, Кузмина. Школа была потрясающая.

Говорил Кушнер спокойным, тихим голосом, но веско и (в ту пору) без самолюбования. Какой контраст с тогдашней богемой! Про Заболоцкого сказано, что у него внешность бухгалтера; то же можно было сказать и о Кушнере, и это – нравилось своею неожиданностью. Стереотипы вообще противны, любое их отрицание – глоток свежего воздуха. С чего это повелось, что поэту к лицу разнузданность? Вот уж точно: суеверие, въевшийся в сознание стереотип. На протяжении всей своей жизни я наблюдал людей, которые, не любя и не понимая стихов, исходили в своей оценке поэта только из стиля его поведения: буйствует – значит талантлив.

Учился я у Кушнера с жадностью, ловил каждое слово, но не всё брал на веру, кое-что вымерял своим аршином. Впрочем, некоторые простые уроки и проверять было нечего. Например, такой: нельзя быть начальником поэзии (он при этом вспоминал Николая Тихонова); это и стыдно, и к творческому вырождению ведет. И такой: нельзя писать стихи за столом (как поздний Блок); за столом можно разве что править, а интонация должна прийти сама собою и стать событием до всякой работы над словом. Ко мне лично был обращен еще и такой урок-упрек: не следует писать слишком много, нельзя вычерпывать себя до дна, нужно дать колодезной влаге накапливаться.

Почти сразу всплыл на Большевичке Ходасевич, имя, едва мне известное. Впервые услышал я его от Романова при нашем знакомстве, Романов же произносил его приглушенным шепо-

том, с гадливостью: эмигрант! В 1971 году я отправился в Публичку и переписал от руки *Тяжелую лиру*, а затем отпечатал на машинке эту небольшую книжку. Не заучивая, знал ее наизусть. Еще за год до того стихи Ходасевича показались бы мне бездарными. В 1971 году – стали почти откровением.

Главный недостаток Кушнера как поэта я увидел сразу: глубокого звука, органа Боратынского или фортепьяно Мандельштама, – ему от природы не отпущено. Он сам понял это рано – и умудрился обратить недостаток в достоинство: научился компенсировать нехватку звука интонационной игрой, которую довел до совершенства. Далеко оставил в этом смысле позади Бродского, вообще не столь мастеровитого, шероховатого; да и всех современников. Завистники, признавая это, говорили: гонгорист, и т. п. Но, господа мои, попробуйте стать Гонгорой! Попробуйте остаться в сознании всего человечества на 300, на 400 лет...

Второй недостаток у всех на устах: его излишняя привязанность к сегодняшнему. Мне в стихах Кушнера всегда не хватало глубокой исторической ретроспективы.

Влияние Кушнера прослеживается в моей первой книге вместе с влиянием Пастернака. Влияние Житинского и Скоб-ло, не столь явное, удержалось дольше.

Уже в 1971 году я догадался: Кушнер идет не от Пастернака, а от Мандельштама. Увидеть это в ту пору было не совсем просто. Я поделился своей догадкой с Житинским, и он немедленно согласился. До сих пор не знаю, поверил ли он моим доводам или сам уже знал это. Скорее – второе. Умен и наблюдателен был – чрезвычайно.

МАШИНКА

«Сперва форма, потом – содержание», – вот каков был мой сокровенный девиз с октября 1970-го, когда началась моя *vita puova*. Понимал я это девиз в смысле, обратном тому, что вкладывали в него формалисты и авангард: нужно сперва свести форму к минимуму, а вместе с тем и сделать ее безупречной. Не гениальной, нет, куда мне, а именно такой, чтобы упрека в безвкусице мне бросить было бы нельзя, чтобы оградить себя,

сколько можно, от суда глупца и смеха толпы холодной. Глупец и толпа – это был, в первую очередь Редактор, собирательный редактор советских изданий.

Тут немедленно встал вопрос о пишущей машинке. Жить без нее было дальше нельзя. Отпечатанный текст – уже защищен, нивелирован, избавлен от интимной индивидуальности почерка. Эрика Житинского не выходила у меня из головы, волновала мое воображение не меньше, чем самые тайны мастерства. Об эрике, однако ж, нечего было и мечтать. Стоила она 240 рублей, я же получал в месяц 110, а чистыми, после вычетов, и того меньше. Мне едва удалось уговорить родителей раскошелиться; сочинительства они не одобряли. Но что покупать? Машинки в ту пору на прилавках не лежали, они немедленно расхватывались. Приходилось ловить слухи.

И вот сообщают, что где-то у чорта на куличках «выбросили» машинки марки «Москва» за 135 рублей. Я кинулся, куда нужно, трясущими руками выложил невероятную сумму и, обнимая сокровище, как возлюбленную, приволок домой. Машинка оказалась неважнецкая. С болью в сердце я видел: она уступает эрике моего старшего друга совершенно так же, как мои стихи уступают его стихам. Но это было уже что-то. Жить дальше было можно. Неказистая, да моя. Буду и такую любить. И с каким же упоением шлепал я по клавишам!

Наличие машинки отразилось и на моей плодовитости (я стал писать больше – ведь теперь стихи можно было показывать, не только произносить), и на самой форме стихов. Эпитеты совсем петушиные отчетливее выпирали из отпечатанного текста. Пусть шальные метафоры хоть десять раз гениальны в чьих-то глазах – освободимся от них, побережем душу, – она еще пригодится, заявит о себе, лишь бы сейчас ее топтали поменьше.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Мыслимо ли написать пять стихотворений в день? Да сколько угодно: загляните в Блока. Что для этого требуется? Влюбленность. Лучше всего – влюбленность в себя. Опять Блок подходит в качестве примера. Влюбленность и – это очень важно – читательский отклик. Плодовитость теснейшим образом свя-

зана с этим откликом. Куно Фишер сравнивает Декарта, оставившего тома, со Спинозой, написавшим три трактата, – и вздыхает: что делать, у Спинозы при жизни было всего шесть читателей. Конечно, тут не только в количестве дело. Шесть читателей было и у Фета – но каких! Среди них – Толстой, Страхов. Добавим еще одну составляющую плодovitости: свободу от подневольного труда. Недаром говорят, что лень – гигиена таланта. Хорошо, когда можно по временам расслабиться, а не добывать хлеб в поте лица своего. Лучше, когда у тебя есть Ясная Поляна, чем когда ее у тебя нету.

Пятого января 1971 года я как раз и написал пять стихотворений, что-то вроде блоковского цикла. Все желательные (достаточные) предпосылки плодovitости имелись в наличии. Влюблен в себя я был по уши. Внимания ко мне в двух кружках было предостаточно, оно просто стягивалось ко мне и у Семёнова, и у Кушнера. На работе в АФИ я откровенно бил баклуши, ходил туда не каждый день (в лаборатории Полуэктова это было нормой). А моей Ясной Поляной выступала социальная защищенность: я жил с родителями, жил бедно, но вопроса, что завтра будем есть (вопроса, который потом десятилетиями висел надо мною, парализуя волю), не возникало никогда. Отчего же и не писать?

Эти памятные пять стихотворений, хоть и не личный рекорд (11 мая того же года было написано даже шесть), связаны с некой Ларисой Р. из АФИ, с которой у меня как раз завязалась многообещающая дружба (испорченная потом ее участливой мамой). Все пять – сносные, не мертворожденные. Вот одно из них:

Был вечер в точности такой,
Какой за окнами сегодня.
Струился сумрак новогодний,
И снег ложился голубой.

Ложился снег с привычной ленью,
И новый источала высь,
И эти мерные движенья
Сознанию передались.

Теперь уже ничуть не важно,
Что это было. Да, ничуть!
Остался только вздох протяжный
Да снегом занесенный путь.

Да, там, за окнами осталась
Печаль, поземка у ворот,
И та счастливая усталость,
Какую музыка дает.

Тут, согласитесь, – уже не торричеллиева пустота. Молодому человеку не стыдно было бы и опубликовать их. Появись они в печати вовремя, я включил бы их в избранное.

А когда ты пишешь по пять стихотворений в день – или хоть по пять стихотворений в неделю – да вдобавок у тебя уже и пишущая машинка есть, то тебе и советская власть по колено.

Я отправился в Публичку и выписал адреса *всех* советских литературных журналов, от Москвы до самых до окраин. Их оказалось 46 на всю империю. Раз в неделю я садился за машинку, переписывал под копирку десять-двенадцать аккуратно подстриженных стихотворений и отсылал их в один из журналов, а себе оставлял копию письма с датой и список отосланного. Собственно, нужны для дальнейшего были только дата и список. Письмо было стандартное: «Уважаемая редакция! Предлагаю вашему вниманию несколько стихотворений. Был бы рад увидеть их на страницах вашего журнала...». Нейтральный тон, спокойный, самодостаточный. Ни слова о себе – как если бы я уже был власть имущий (вдруг ошибутся?).

Почти все журналы отвечали. Отвечали, естественно, отказами. Иные редакторы, честные малые, давали критический разбор присланного, всегда глупый и обычно злобно-язвительный. Иные обходились без разбора, желчь и злоба уместались в одной фразе, смысл которой сводился к следующему: куда, жидовская морда, прешь? Разве тебе место в великой русской литературе? Посмотри, какие у нас поэты!

Тут наступал час моего торжества. Я садился за машинку и переписывал новые десять-двенадцать стихотворений. Болванка ответного письма висела над столом. Оно начиналось

так: «Уважаемая редакция! Спасибо за доброжелательный отзыв о моей работе. Предлагаю журналу подборку новых стихов...». Система, говорил я себе, должна дать сбой. Она дряхла; вода камень точит, а я – с моею плодовитостью – неуязвим.

Житинский, мой старший друг и наставник, мой пример во всем, не одобрял этой игры. Сам он шел другим путем: знал, что обаятелен, и делал ставку на личные встречи. Да и фамилия у него, в отличие от моей, была пристойная. Главного препятствия на пути в печать для него не существовало. Он ездил в Москву, в журнал *Юность*, к Борису Полевому и Натану Злотникову, и был там неплохо принят. Я же как раз не хотел видеть всех этих редакционных рож, не хотел говорить с ними, хотел – полностью обезличить контакт. Да и поездка в Москву казалась мне непозволительным расточительством (хотя доехать можно было за одиннадцать рублей).

В Ленинграде, впрочем, без прямых контактов обойтись не удавалось. Уже в начале 1971 года я отнес какие-то стихи Ирине Маляровой для альманаха *Молодой Ленинград*, в котором что-то в 1972 году и появилось, впрочем, не то, первое, а другое, добавленное позже. Мои новые, аккуратно подстриженные стихи оказались волшебной палочкой: их принимали всерьез! Сам я опомниться не мог от удивления: со мною считаются советские редакторы; какой-то едва уловимый, но действенный слушок идет обо мне по городу. А ведь год назад меня на этом свете просто не было. Никогда не забуду встречу (первую и единственную) с Павлом Ивановичем Кочуриным в *Советском писателе*. Он вызвал меня звонком, чтобы обсудить вот эту самую публикацию в *Молодом Ленинграде*; он был редактором альманаха. Вижу это замшелое чудовище так, как если бы мы встречались вчера. Одного взгляда хватило, чтобы понять, с кем я имею дело: чиновник от литературы, честный советский писатель с партбилетом, – и человек конченный: лет пятьдесят, не меньше; старик, завтра в гроб сходить. «Мне, – сказала чудовище, – не нравится это ваше стихотворение!». Сказало веско, с вызовом. О каком стихотворении шла речь, не помню. «Не нравится – так снимите его», ответил я. Чудовище рот открыло от изумления. Авторы обычно спорят, убеждают, горячатся, а мне было решительно всё равно – потому что пред-

стоящая публикация, первая в моей жизни (на деле она вышла второй или третьей), казалась мне полетом на луну и обратно. Я в нее не верил – и уж конечно не хотел ничего обсуждать с человеком столь явно чужим; хотел от него отделаться поскорее. Два стихотворения вместо трех? Велика разница! Оставил я Кочурину несколько новых стихотворений – и он взял, а у меня мелькнуло: ведь это – некорректно! Разве не из того нужно выбирать, что сдано к сроку, на общем основании, в порядке общего конкурса всех соискателей славы? Разве не поблажка это мне с его стороны? И что стоит за этой поблажкой? Только одно могло стоять: в его сознании я уже куда-то входил, во что-то прошел, был по умолчанию принят в круг тех, кто завтра вынырнет на поверхность. Дивная минута...

В *Звезде*, на Моховой, меня крайне неприветливо встретил желтый сухой немец Николай Леопольдович Браун (муж Марии Комисаровой, оба супруга числились поэтами, состояли в союзе писателей). Тут, я сразу понял, ходу не будет. В газете *Смена* я угодил к другому немцу, Герману Гоппе, и он тоже меня отфутболил.

В *Неве*, на Невском 3, вышло иначе. Там сидел в отделе поэзии насмерть перепуганный сталинскими репрессиями, но знавший лучшие времена старик Всеволод Рождественский, ученик Гумилева. Сперва я попал в руки его ассистента – сколько помню, Анатолия Александровича Аквилева (или, может быть, Игоря Леонидовича Михайлова, 1913–1994, лагерника, автора поэмы *Аська*; с ним у меня в начале 1980-х возникли вполне человеческие отношения). Ассистент (литконсультант?), посмотрев рукопись, сказал:

– Вам стоит дожждаться Всеволода Александровича.

Явился Рождественский, древний, как Мафусаил, – и, не вступая со мною ни в какие разговоры, в самом деле что-то отобрал для журнала. Стихи появились в 1972 году: одно стихотворение, в подборке со стихами других начинающих. Я тотчас откликнулся на это событие шалостью:

В пятом номере *Невы*
Напечатаны не вы.
Там печатают не вас:
Нас печатает *Нева-с*.

Так была устроена тогдашняя действительность: антисемитизм подразумевался и поощрялся, но не был кодифицирован, оставался, так сказать, факультативным; тут многое от человека зависело и от места. В год моего абитуриентства, например, в 1963-м, на физфак евреев не брали, а на мат-мех и на физ-мех (в Политехническом) – брали. Рождественский, человек старой культуры, антисемитом не был.

В основном я оказался прав: система давала сбои. С 1972 года публикации пошли одна за другой. Самотеком, через почту, меня напечатали сперва алма-атинский *Простор* (правда, тут было что-то вроде протекции; об этом скажу отдельно), потом минский *Неман* (с фотографией, что шло уже дальше всякого вероятия), потом ташкентская *Звезда Востока*, наконец, московский *Студенческий меридиан* (журнал, впрочем, не литературный; и – под псевдонимом). В 1975 году публикации разом оборвались, всего их было девять, две – в Москве. Но и двух-трех появлений в «большой печати» было тогда достаточно для того, чтобы предложить издательству макет книги стихов; что я в 1972 году и сделал.

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С МОЛОДЫМИ

О моей второй московской публикации и о публикации в *Просторе* нужно сказать отдельно. При союзе писателей существовала комиссия по работе с молодыми авторами (мы говорили: по борьбе с молодыми авторами). Секретарем ее состояла Нина Николаевна Альтовская (1925–80), добрая женщина, как раз пополнившая ряды советских писателей. Помню ее слова о том, что она всю жизнь стремилась в союз писателей, получила, наконец, долгожданный членский билет – и никакой радости при этом не испытала.

– Я словно бы профсоюзный билет получила! – вздыхала она.

При комиссии в 1972 году возникла престранная группа молодых-да-ранних. Название ускользнуло из моей памяти, а смысл группы был тот, что эти молодые – вот-вот «войдут в литературу», издадут свои первые книги, а там, глядишь, и членами союза писателей сделаются.

Эфемериды типа этой группы по временам возникали при Шереметевском особняке на Шпалерной (она тогда называлась улицей Воинова). В одну из подобных групп в свое время был вовлечен и Бродский, разносивший, говорят, избирательные повестки на этом избирательном участке. Двумя главными учреждениями участка были Большой дом (КГБ) на Литейном и ленинградское отделение Союза советских писателей. Низший персонал этих контор и отряжали на разнос повесток.

Противоборствующие силы сошлись на том, чтобы поставить поводом новой группы старуху Татьяну Григорьевну Гнедич (1907–76), знаменитую переводчицу Байрона. Гнедич любила молодых, включая публику, в печать не прорвавшуюся, а рискованная молодежь тянулась к ней. Гнедич прошла сталинские лагеря, была сурова и подчас резка. Свой перевод *Дона Жуана* начала в тюрьме, воспроизводя оригинал по памяти (чем, главным образом, и прославилась). Не только Константин Кузьминский, но и Виктор Ширали (он в молодости ходил в непризнанных гениях) был своим в ее кругу. Гнедич устраивала и чистых, и нечистых. В сущности, все ленинградские «начинающие поэты» оказались на короткое время под ее крылом, но «работала» она вот с той самой инициативной группой, напоминавшей теневое правительство с распределенными портфелями. В группе за каждым были закреплены какие-то обязанности – вроде связи со Смольным, с обкомом, где тоже была комиссия по борьбе с молодыми писателями, ее представлял некто Валя Борисов, на вид вполне приличный человек.

Не помню, какой портфель достался мне – ибо я, хотите верить, а хотите – проверьте, оказался ненадолго в этих стройных рядах. Не обкомовский портфель, уж это точно. Наверное, по связи с литературными объединениями или что-то в этом роде. Из других молодых и продвинутых помню в этой группе Житинского, Наташу Карпову, Олега Цакунова и Сашу Матюшкина-Герке, пародиста, который говорил о своей продукции: «Товар у меня скоропортящийся». Все были старше меня (Цакунов – на целых десять лет). Доверие и симпатию вызвала у меня среди новых знакомых одна только Карпова. На всю жизнь я запомнил ее строки:

Пусть выбор у нас невелик,
Но всё-таки есть,
Чтоб делать, как совесть велит,
Как требует честь.

Десятилетия спустя, в 1993-м, она была у меня в гостях в Лондоне, а еще через два года погибла: была убита ранним утром на улице Пестеля, когда шла в церковь.

Что уж мы там наработали в этой комиссии, вспомнить не удается, но с Гнедич я почти подружился, бывал у нее дома – в Пушкине, на улице Васенко, дом 8, кв. 4, телефон 97-37-22, а она, случалось, звонила мне по делам комиссии на Гражданку, в родительскую квартиру. Она позвала меня и в свой переводческий семинар. Туда я ходить не стал, но согласился попробовать переводить под ее руководством Байрона. Образчик сохранился.

Наших встреч уединенных
Вновь навеять не вольны
Прежний пыл сердец влюбленных,
Прежний ясный свет луны.

Ибо меч стирает ножны,
А душа сжигает грудь.
И от счастья, если можно,
Сердцу нужно отдохнуть.

И хоть ночь – пора влюбленных
И вернуться день спешит,
Наших встреч уединенных
Лунный свет не возвратит.

– Много лучше, чем у Маршака! – заключила Гнедич.

Еще бы не лучше. Тут не требовался специалист по Байрону, специалист по английскому языку. У Маршака вперемешку идут строфы хореические и ямбические; одного этого достаточно, чтобы запротестовать. Видно, что переводил левой задней ногой. Старуха обещала вставить мой перевод (вместо

маршаковского) в готовившееся под ее редакцией издание Байрона. Не думаю, чтобы она успела это сделать – или хотя бы попыталась.

Еще она хотела, чтобы я перевел три стихотворения Байрона: *Let Folly smile, to view the names* (1802), *To Caroline* (1805, *Oh! When shall the grave hide forever my sorrow*) и *To Mary on receiving her picture* (1806, *The faint resemblance of thy charms*). Ничего у меня не получилось. Хуже того, при переводе первого я опозорился: принял Folly – за имя собственное (написано-то с прописной). Прочитав мой набросок, Гнедич сурово сказала: – Ведь Folly – это *глупость*!

Меня бросило в краску. Ошибка совершенно обескуражила меня, я потерял всякий интерес к переводам, а старухе стыдился на глаза показываться.

Расстались мы с нею не совсем хорошо. В конце 1972 года, никого не предупредив, я из инициативной группы вышел, на последний звонок Татьяны Григорьевны ответил сухо и равнодушно. Больше с нею не виделся и не перезванивался. На похороны в 1976 году не пошел.

Из Байрона вынес я еще и мучительный вопрос: отчего английская просодия и английская рифма (вроде be-me) так убоги? Впервые столкнулся с ошеломляющими «рифмами для глаз». Тут было от чего заплакать. Нет, уж лучше я останусь на обочине мировой культуры, в русском языке, но – с родными звуками. Не нужно мне английских!

В короткий период общения с Гнедич, весь укладывающийся в год, я, среди прочего, рассказал ей о моих попытках пробиться в печать. Она в ответ разрешила сослаться на нее в письме в алма-атинский *Простор*; там сидел некто Ростислав Викторович Петров, вероятно, из реабилитированных лагерных друзей. Так я и сделал. Стихи послал в феврале 1972 года и забыл о них, я ведь каждую неделю посылал по письму в редакции. А в августе стихи эти вышли и – *все вышли*, от строки до строки, полный журнальный разворот! Это была моя первая публикация, вообще самая первая. Не стыжусь ее, там всё пристойно; честные стихотворные упражнения. Но никогда ни строки из этих стихов я не перепечатывал и никуда не включал.

В самом конце 1976 года, через месяц после смерти Татьяны Григорьевны, вышла книжка ее оригинальных стихов, сплошь неудачных, если не прибегать к словам более резким. Я и *Доном Жуаном* ее не восхищался. Октавы, как и итальянский сонет, всегда звучат по-русски искусственно, слащаво-натужно, – но, ей-богу, даже в октавах перевод можно было бы сделать лучше. Не мне, конечно, было это по силам, но – можно. Остался от Гнедич, я думаю, не столько русский *Дон Жуан*, как все тогда говорили, сколько тюремный подвиг да легенда.

Еще любопытнее судьба моей первой московской публикации, шестой по счету, во всесоюзном (!) альманахе *Родники*.

В октябре 1972 года приехал из Москвы один из редакторов издательства *Молодая гвардия* Виктор Васильевич Афанасьев. При комиссии по борьбе с молодыми имелась изрядная папка стихов «молодых» ленинградцев. Он сел ее читать и – еще одно чудо – из всех, сколько их там ни было, авторов, не исключая Житинского и полуподпольных гениев типа Елены Шварц, выделил меня одного. Выделил совершенно; настолько, что, кажется, лишь со мною говорил индивидуально. Произносил слова столь лестные, что даже мне, при моих наполеоновских планах, они казались чрезмерными. Я не обольстился – именно потому, что увидел тут всего лишь каприз судьбы. Я продолжал считать себя бойким подмастерьем, не дописавшимся до своего, настоящего, – и, конечно, таковым и был. Сочинения мои, три неважнецких стихотворения, Афанасьев в итоге напечатал в книжке на 1974 год. Чудо здесь в том еще состояло, что *Молодая гвардия* слыла цитаделью антисемитизма.

Десятого октября 1972 года, когда мы прощались, Афанасьев велел мне прислать ему еще двадцать стихотворений и дал домашний адрес: улица Вавилова, д. 25, кв. 1. Больше публикаций не последовало. Мы обменялись несколькими письмами. Переписка оборвалась в страшном для меня 1976 году. Я писал ему, что мною владеют самоубийственные настроения. Он ответил: «Не знаю, что произошло с Вами. Думаю, то же, что со всеми нами...». Угадал, конечно.

Больше судьба нас не сводила. Незадолго до эмиграции мне попала в руки его книга *Жизнь и лира* – о слепом поэте пушкинской поры Иване Козлове.

При комиссии по борьбе с молодыми я впервые столкнулся с Еленой Игнатовой. Столкнулся буквально. Выходя из комнаты номер 28 Шереметевского особняка, где сидела техническая секретарша комиссии Аннина Григорьевна, я споткнулся о порог. Игнатова как раз входила, и вышло так, что я, некоторым образом, чуть не сбил ее с ног. Мы хоть и встречались прежде, а формально знакомы не были (и тут не познакомились), разве что слышали друг о друге. Круг был общий. Игнатова к тому времени была уже подпольной знаменитостью. Только что в Париже, стараниями Василия Бетаки, вышла ее первая книга стихов. Стихотворение «Век можно провести, читая Геродота» многие знали наизусть. Как это нередко бывает, в нем первая строка больше всего стихотворения в целом. Второй строкой шло:

То греки персов бьют, то персы бьют кого-то,

– отчего мне сразу делалось скучно. Ей-богу, понять Геродота следовало бы основательнее. Да и не Геродот, а Фукидид был для меня историком. Я с ним не расставался, даже выписки из него делал, искал и находил у него подпорки моему тогдашнему минимализму: «Недостаток знания при скромности полезнее, чем пронизательность при необузданности... Люди недалекого ума живут обыкновенно лучше, нежели люди ума более острого...»).

Творческий секретарь комиссии, Нина Николаевна Альтовская, еще один раз появляется в моей жизни.

В 1976 году я жил с женой и дочерью на улице Воинова, на той самой Шпалерной, почти напротив Шереметевского особняка, тогдашнего Дома писателя. Со всей литературой, верхней и нижней, я к этому времени порвал. С Кушнером простился так: послал ему приглашение на мои похороны, написанное на обертке от дефицитной в ту пору туалетной бумаги. Вышло это случайно. Я в шутку продиктовал письмо жене, она, тоже в шутку, записала, а на другой день, без ее ведома, я положил этот клочок бумаги в конверт и отправил почтой. Мне казалось, что право на такую шутку давали мне

наметившаяся между нами в прежние годы дружба и мое отчаянное положение, мое одиночество. Но мэтр обиделся. Чувство юмора у него было невыдающееся, а черного юмора он вообще не понимал.

Я не замечал знакомых литераторов, встречаясь с ними на этой писательской улице. Не заметил и Альтовскую. Уже пройдя квартал, вспомнил: какая-то женщина остановилась и смотрела на меня долгим взглядом. Тут только и сообразил, что это была Альтовская.

Следующим известием об Альтовской был случайно дошедший до меня слух о ее гибели. Рассказывали, что в 1980 году, будучи делегаткой на очередном съезде советских писателей в Москве, она покончила с собою: бросилась с моста в реку. Если это правда, то и с нею, должно быть, случилось «то же, что со всеми нами», только в еще более страшной форме.

СЛЕПАЯ ЛАСТОЧКА

Из поэтов большой четверки Цветаеву я прочел первой, лет в семнадцать, и ненадолго увлекся ею. Ахматовой – чуть позже – совсем не поверил после куска *Поэмы без героя* в ленинградском *Дне поэзии* на 1966 год. Совершенно как Цветаевой в год ее смерти, всё это показалось мне безнадежно устаревшим. Пастернаку я целиком отдался в руки с конца 1970 года (и весьма сносно пастерначил). А Мандельштама не знал до начала 1971 года.

Первые списки Мандельштама разочаровали меня. Метафоричность и неплотность поэтической ткани казались вторичными, блоковскими. Нужно писать суше, плотнее, приземленнее – вот чему учил Пастернак, а с ним, косвенно, и прочие мои наставники. Вся тогдашняя атмосфера подводила к правилу: сторонись высокопарности. Пафос разрешался только патриотический.

Я не понимал, что – даже и на советской почве 1970-х – это был отголосок давнего эстетического спора начала XX века. Высокопарность символистов так испугала поэтов, что они на целое столетие отшатнулись от высокого. Нормальной реакцией на Прекрасную Даму был акмеизм («Свежо и остро

пахли морем на блюде устрицы во льду»), реакцией чрезмерной, истерической – футуризм, дыр-бул-шил. Маяковский был отрицанием всего высокого. Пастернак начинал, как футурист, но и в своих поздних стихах остается земным, плотским, – даже когда пишет о небесном и бесплотном («Шло несколько ангелов в гуще толпы ... их шаг оставлял отпечаток стопы...»).

Помню, мы садимся с Романовым в такси. Случай несчастый; я поневоле был скуп, на такую расточительность шел редко. Мы спешим на какие-то литературные дебаты – и сами уже спорим о чем-то взахлеб. Я запальчиво говорю:

– У Пастернака я буду учиться, а у Мандельштама – нет!

Говорю – и тут же спрашиваю себя: а что в этих словах и в этих именах услышал наш водитель? Может, он – тот самый, с которым Лидия Чуковская перемолвилась о Пастернаке. Убеждала честного советского труженика, что недавний нобелевский лауреат – великий русский поэт, а тот твердил своё: «Пастэр! Предатель! Знаем мы их...»

Эту сцену с Романовым я запомнил именно из-за внезапного чувства неловкости перед водителем. Вернулась на минуту и мысль о космическом расстоянии между поэзией и вот этим народом. В детстве она мучила меня, изводила, а к 1971 году мучить перестала. Что мне до народа? Поэзия – реальность, а народ – выдумка, миф.

Мандельштама приходилось осваивать вот как: давали на какое-то время книгу или список, и нужно было для себя отпечатать на машинке, что успеешь. Даже прочесть внимательно времени не оставалось. Сперва печатать, потом – читать. Отбирал я кое-как, зачастую не лучшее, а понятное – или совсем непонятное, неприемлемое, вроде

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу.

«Его ценят серьезные люди, те, с кем я считаюсь. Эти стихи кажутся мне вздором, сумбуром, седьмой водой на киселе. Сейчас перепишу, а приму или отвергну – потом», – вот что я держал в уме, шлепая по клавишам.

В моей комнате на Гражданке 9 у меня был старинный круглый столик красного дерева, то ли чайный, то ли карточный, из тех времен, когда в этом понимали. Машинка какое-то время стояла на нем. Помню ясный февральский день. Я расхаживаю по комнате мимо столика с машинкой и только что отпечатанными листами на нем, и читаю вслух:

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Рассуждаю тоже вслух:

– Ну, не чепуха ли? Шестистопным ямбом с цезурой только ленивый стихов не напишет. Какой-то александрийский стих, ей-богу. Расслабленность, вялость. Два *c* подряд: «С стигийской нежностью...». А рифмы? Я – за точную рифму, мне и пастернаковская уже не нравится, но все же хоть какая-то энергия в рифме быть должна! А тут – извольте: «к теням – к ногам»! Это просто смешно. Это вот именно что существенный вздор-с, прямо по Смердякову!

От столика, за которым она сидела, – словно не слыша меня – отозвалась Фика:

– Какая прелесть!

Я остановился, как вкопанный, – потому что вдруг разом понял: она права! Все мои соображения рухнули. Пастернаковская напористость в стихах вдруг представилась мне этаким паровозом в «лесу безлиственном прозрачных голосов». Нежность, легкость, естественность – разве они не драгоценнее? Капризная, шопеновская игра воображения – разве нет у нее права на существование, нет места в душе человеческой? С чего это вдруг стихи должны быть непременно упругими? Напористость – шаг в сторону футуризма и советского академизма.

Это и многое промелькнуло и скрылось, работа настоящего понимания еще предстояла, но ключ к Мандельштаму был найден.

Бледная, худенькая, бедно одетая, одновременно девочка-бакфиш и женщина, по-прежнему застенчивая – и вместе с тем с какой-то новой уверенностью в себе, Фика и сама показалась мне

прелестной в этот момент. На ней был костюм домашнего шитья: жилетка и юбка из грубой бурой ткани, какая шла на пальто, а под жилеткой – шифоновая кофточка, зеленая, в крупных цветах.

В тот день мы прочитали всё, что мне удалось перепечатать, а потом слушали Вивальди.

– Инка, моя Инка! – так, кажется, вздыхает герой Бориса Балтера. – Где ты, Инка? С кем ты?

ГОРОДНИЦКИЙ И ЕСКИН

В списке *народных артистов*, выдвинутых послесталинской оттепелью, вслед за Окуджавой шел для меня Александр Городницкий. Летом 1965 года, на студенческой стройке в Киришах, я вместе с другими пел у костра:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забывтые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.

Пел, точнее – подпевал, изумлялся и завидовал: как это сильно и выразительно сказано! Вот она, настоящая поэзия, нашедшая себе путь к сердцам. И подлинная слава, не из кремлевского распределителя, а народная. Как должен быть велик этот человек, как счастлив! Ведь это ж надо написать такое:

Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабни кто-то –
И небо упадет.
А небо год от года
Всё давит тяжелей,
Дрожит оно от гуда
Ракетных кораблей.

В начале 1971 года оказалось, что Городницкий ведет литературное объединение при Политехническом институте. Вероятно, только что *вступил в ряды*, стал членом союза писателей; лишь *члены* имели право на этот специфический приработок: наставлять молодых.

Жил я рядом, институт был родной, редакция *Политехника* – местом хорошо знакомым. Давно ли Фуго-Пуго объяснял мне в ней, что «у нас нет цензуры»? Я решил побывать там. Перед тем, как идти, полистал книжку Городницкого – и ахнул: с моих новых позиций всё было плохо. Где сквозь строчки пробивалась мелодия и брэнчанье струн, там воскресала былая магия. Где строчки прикидывались стихами, за автора было неловко. Встроенного инструмента, того самого, которым жив настоящий поэт, не было слышно. Строчки были бумажные, неживые. Выходило, что струны прикрывают пустоту.

Я попал на занятие, на котором обсуждались стихи первокурсника Игоря Белова. Мальчик был рыжим, задиристым, его стихи – расхожей метафорической окрошкой. Мне представился случай продемонстрировать на них мой критический задор. Я был гостем, выпускником института, старшим среди собравшихся, обо мне уже чуть-чуть говорили в городе, кое-кто из студийцев знал мое имя. Это придавало куражу. Я выступил главным прокурором, выложил весь мой стандартный набор, наработанный в объединениях Семенова и Кушнера. Вся моя *ars poetica* стройными рядами прошла мимо Городницкого и наострившей уши молодежи.

Белов, говорил я, слепо подражает Мандельштаму (а он, как потом выяснилось, имени этого не слышал). Тем самым он устарел, не родившись. Метафорическая поэзия – устарела. Поэзия должна быть земной, простой, плотной, весомой и нерасчленимой. У Пастернака слова сцеплены так, что их не разнять, у Мандельштама они – на шарнирах, взаимозаменяемы, и это – плохо. Какая-то мерцающая аритмия, жонглирование культурными символами. Рифма, учил я, должна быть строга, как у позднего Пастернака. Неточная рифма – пренебрежение к родной просодии, к родному языку; она, в сущности, цинична. Поэт словно бы говорит: могу точно рифмовать, да не хочу; оставлю

это мальчикам в забаву. Но такой подход – ложь, самообман, трюкачество. Самая причудливая неточная рифма неожиданна только для профана. Тем самым она – профанация. Она льстит тем, кто стихов не любит и не понимает, кто прикасается к ним изредка. На таких читателей (слушателей) ассонансная рифма и рассчитана. Рассчитана на толпу, на обывателя, а поэта превращает в трюкача, в скомороха с микрофоном. Человек с воспитанным вкусом предпочтет рифму самую простую, сдержанную, – потому что не в ней дело, неожиданных рифм для него просто нет. Парадоксальность, неожиданность – нужно в поэзии дозировать. Вообще главное – не выпячивать себя, в рифме, размере, форме, отказаться от всех этих фортелей в пользу стройности и строгости. Писать стихи – очень просто. Писать стихи без вкусовых сбоев – невероятно трудно. Вкус и есть талант.

Белов, говорил я, книжен, а вместе с тем его стихи рассчитаны на дешевый внешний эффект, на произнесение перед аудиторией. Он талантлив, но талантливых – толпа, а вкус нужно воспитывать (если есть что воспитывать). Традиция умнее новаторства. Белов и шага в этом направлении не сделал; он трюкачеству, устраивает дешевые ловушки в стихах; идет от звука, а не от смысла, тогда как нужно, подхватив пришедшую невесть откуда интонацию, тотчас вводить ее в жесткое смысловое русло.

Белов был тут, собственно, ни при чем. Мальчик для битья. В семнадцать лет все или почти все пишут стихи. Говоря о нем, я заливался о себе.

Всё это произвело впечатление. По главному пункту Городницкий со мною не согласился: неожиданности («фокусы, фортеля») должны быть в стихах, утверждал он. Тянул в сторону того, что я называл силками для читателя. Еще когда он слушал мою обвинительную речь, в глазах его шевельнулась тревога, особенно при упоминании Кушнера. Я угодил в солнечное сплетение, в сердцевину литературного спора о том, кто поэт, а кто – не совсем. Возражал он мне с излишней для наставника горячностью. Задет был за живое. В сущности, я ведь и против него говорил, говоря о Белове, и он догадался.

Я, между тем, мысленно сравнивал Городницкого с наставниками, которым поверил. В богемном Семенове присутствовала неистребимая чертовщинка: невысокий и длинноногий

(прыгающая походка), длинноволосый, сутулый, с гоголевским носом, он был чортом из табакерки. Кушнер, ростом еще меньше, некрасивый, в неизменном защитном панцире, в круговой обороне против всех и каждого в этом враждебном мире, ежеминутно помнящий, что он еврей, маленький еврей с суконной фамилией, – мог на первый взгляд показаться человеком незначительным. Но стоило тому или другому заговорить, и вы всё забывали.

Какой контраст с Городницким! Этот был красив и осанист, солиден. Открытое лицо, широкая душа. Должно быть, правился – и знал это, привык нравиться. Голос имел выразительный, глубокий. Но человеческий масштаб был тут совершенно другой. Его суждения о стихах оказались как-то неправдоподобно мелки, плоски и прямо глупы. Я не ждал многого, идя к Городницкому, но и встречи с законченным советским интеллигентом предвидеть не мог. Передо мною сидел чиновник, обыватель: немножко геолог, немножко поэт. Поэт среди ученых, ученый среди литераторов. Можно было не сомневаться, что он любит и собирает свои внешние регалии, всяческие похвальные грамоты – и дослужится до профессора.

Его человеческая малость просто в глаза бросалась. Когда, разделившись с Беловым, мы все читали по кругу, Городницкий после моего чтения сделал попытку перетянуть меня в свой лагерь: сказал, что мои стихи – ярче и талантливее стихов Кушнера. Я мысленно расхохотался, но ответил спокойно – в том смысле, что тут и сравнения быть не может. Для меня это была партийная игра: спрятаться за спину лидера, а другим показать: есть такая партия; пусть задумаются. О своих опытах я отозвался жестко – как о работе начинающего, о стихах Кушнера – намеренно завышая мою собственную оценку: назвал его лучшим современным поэтом, лучше Бродского, приписал ему то, что хотел видеть в Поэте и надеялся воспитать в себе.

Тут занятие подошло к концу. При чтении по кругу я выделил стихи первокурсника Кости Ескина, которого видел в первый раз, и пригласил его к Кушнеру на Большевичку. Вскоре он появился на Воронежской и дальше ходил туда регулярно, вошел в наш тесный кружок.

У Кушнера любимчиков не было; были те, в чьи способности он верил: Ескин немедленно попал в их число. Один раз наставник сказал даже, что Ескин «идет дальше Ахматовой» – не во всем, упаси бог, а в развитии конкретного образа, образа пробивающейся листвы. Стихи были такие:

Наша память бедна, но апрель
Мы запомним на годы –
И его облаков акварель,
И несмелость природы,
Неожиданно яркие дни
И тепла безмятежность,
И листочки, что еле видны,
Их младенчества нежность,
Растворимую зелень, что чуть
Лишь припудрила ветки,
И какую-то сладкую жуть,
Что приходит так редко.

«Чуть припудрила ветки» – вот что отметил с воодушевлением Кушнер.

Ескин окончил в итоге электромеханический факультет ЛПИ и оказался дельным физиком. Помню одну его работу 1970-х: плазма, дифференциальные уравнения в частных производных, фортран. В конце 1991-го, когда наступили свободы, он гостил у меня в Лондоне – и мы, хм, даже затевали совместную научную публикацию, послали тезисы доклада на какую-то ученую конференцию в Уэльсе, где наш доклад (еще не написанный) был принят. Назывался он: Peculiarities of Directional Couplers with Saturation Absorption, авторами значились С. F. Yeskin, The Ioffe Physico-Technical Institute, St. Petersburg, Russia, and Y. Kolker, Hebrew University, Jerusalem, Israel. Что уж там было у нас на уме? Физика, разумеется, была костина, математика – моя: какая-то нелинейность, принцип лимитирующей факторов (пороговый эффект); математическое описание свойств волноводов. Доклад в итоге не состоялся. Мы ничего не написали. Костя уехал в Германию, а потом в Питер.

В середине 1990-х Ескин возвысился до помощника директора ЛОМО. Характер он имел тяжелый, сильно пил. В 1995-м по старой дружбе встречал меня в аэропорту, с шофером ЛОМО – и пьяный в стельку. Через год или два, когда я опять оказался в Питере, мне потребовался номер телефона общего знакомого; я позвонил ему в ЛОМО. Ответил он так:

– Прости, но мы тут, знаешь ли, работаем!

Я перестал с ним общаться. Забыл его крепко. Были у нас до этого и другие не совсем приятные минуты.

В 2001 году, в одном частном архиве, мне попала в руки пачка неподписанных стихов; машинопись – слепая, машинка – не из лучших, не эрика. Стихи меня поразили: в них явственно слышались отголоски стихов нашего круга 1970-х; тут присутствовал и Скобло, и Житинский (которого я в ту давнюю пору всюду читал и пропагандировал), и я. Целых два года мне не удавалось угадать автора. Я дал объявление с образчиком его стихов в бостонском журнале *Космополит*; никто не откликнулся. Одно стихотворение было такое, что, раз прочтя, забыть его (мне казалось) просто нельзя. Его я и поместил в *Космополите*:

Под вечер кажется ничтожным
И жалким утренний запал,
Под вечер станет невозможным
Вранье, что будто ты не знал,
Кому нужна твоя работа,
Твой мирный, мирный, мирный труд,
Твой гироскоп для самолета,
В котором бомбы повезут.

В октябре 2003 года, в Питере, я показал это стихотворение Саше Танкову, и тот сразу назвал автора. Я позвонил Ескину. С большим подъемом говорил ему о его стихах, прочел на память эти восемь строк (и он сказал мне, что они – о Валерии Скобло, а я усомнился; ведь сам-то он работал в 1970-х в конструкторском бюро аналитического приборостроения, где как раз и занимались гироскопами; стихи эти тем и замечательны, что лирический герой к себе обращается). Ескин звал меня в гости,

но мы не договорились о времени. Он, к моему удивлению, оказался безработным (а еще недавно был заметным человеком, служил в «правительстве города» и в торговой палате).

Как раз в этот мой приезд (2003) Танков затевал встречу *старых большевиков* с публичным чтением стихов. Созвали на набережную Макарова тех, кто ходил на Большевичу в 1970-е. Регины Серебряной не было в живых; Таню Котович я к этому времени давно уже разыскивал, да так и не нашел. Были Ханан (случайно оказавшийся в городе; он жил в Иерусалиме), Танков, Дмитриев, Скобло, Соколова, я. Ескин – прийти не смог или не захотел. Скорее не захотел, притом из гордости; мол, кому я там нужен? Мы так и не увиделись. А 9 ноября 2003 года – его убили. Дело осталось нераскрытым. Наверное, знал лишнее. На минуту мне показалось, что я потерял близкого человека. Я собственноручно, в кодах HTML, сделал ему сайт в интернете (<http://c-yeskin.narod.ru/>), куда поместил все известные мне стихи Ескина; напечатал некролог и подборку его стихов в парижской газете *Русская мысль*, к тому времени еще не вполне выродившейся. Не исключено, что это была его единственная литературная публикация.

Игорь Белов появился в моей жизни еще раз, спустя 32 года: нашел меня через мой сайт в сети и написал мне электронное письмо. Сообщал, что теперь его зовут Арье Ротман, что это его «настоящее имя», и он, находясь в длительной командировке из Израиля, редактирует в Петербурге еврейский журнал. Вечная поэзия Ветхого завета заслонила от него молодую русскую поэзию.

АСПИРАНТУРА У БАБЫ ЯГИ

Стихи писались у меня в небывалом количестве, с неимоверной легкостью – и заслонили всё. Я нашел и оседлал конька, сивку-бурку. Казалось, конек не подведет никогда. Наслаждение от этой верховой езды перевешивало все прочие мне известные, устраняло все невзгоды. Источник казался непересыхающим. Я кичился моей защищенностью:

Светла моя участь.
Ее возмутить мудрено.

Чтобы наслаждение длилось долго, всегда, требовалась праздность. Гарантировать творческий досуг (избавить от подлой советской службы) могло только членство в союзе писателей. Работу не изматывающую, с некоторым участием мысли и, главное, без тупого отбывания положенных часов, с возможностью распоряжаться своим временем – могла обеспечить кандидатская диссертация; она же была и своего рода дворянством в сугубо классовом советском обществе. Отсиживание от звонка до звонка казалось мне худшей каторгой. (Дикое советское суеверие не позволяло и мысли допустить о том, чтоб пойти в рабочие.) Детская гиперактивность рвалась из-под спуда. Двигаться – и сочинять, сочинять на ходу: вот что мне грезилося; вот от чего я не мог отказаться.

В конце 1970 года выяснилось, что есть шанс поступить в аспирантуру при институте с апокалипсическим именем СевНИИГиМ. Расшифровывалась страшная аббревиатура так: Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации. Туда перешли некоторые из сотрудников АФИ, там работала Нина Нерпина, дочь директора АФИ, академика или члена-корреспондента. Иначе говоря, там начали делать что-то не совсем пустое. Ходили слухи, что в СевНИИГиМе – вольница, работать не мешают, позволяют заниматься тем, что тебе интересно. Вольница объяснялась захолустностью. О науке там не слыхали, понимают ее как сбор и «обработку» каких-то сельскохозяйственных цифр. Большинство сотрудников в глаза не видывало дифференциальных уравнений в частных производных. Понятно, что из таких можно было веревки вить. Интеллектуальная периферийность богоугодного заведения подтверждалась еще и тем, что там в аспирантуру брали евреев. (По паспорту я был, естественно, русским; но кто же при такой фамилии и таком отчестве паспорту поверит?)

Мои дела в АФИ шли неважно, главным образом – по моей вине (работать было некогда и не хотелось), но я думал, что мне ставят палки в колеса; у меня накопилось несправедное раздражение против Полуэктова. Первый же контакт с СевНИИГиМом показал: меня берут в аспирантуру, дело, можно сказать, решенное. Нужно только подать документы к 1 февраля, сдать экзамены, вступительные (которые, это чувствовалось, – почти фор-

мальность) или, если я пожелаю, прямо кандидатские, а там – работай себе на здоровье, пиши свой ученый труд, сидя дома и в библиотеках. Одно было неудобно: помещалось квадратно-гнездовое учреждение на Итальянской улице (тогда – улице Ракова), дверь в дверь с Пассажем, то есть далеко от дому, а в него хоть изредка, но придется ездить. Мешала и мысль, что престижу тут мало: с одной стороны – аспирантура, с другой стороны – чуть ни у Бабы-Яги. Но об аспирантуре в приличных институтах с моей фамилией можно было и не помышлять.

Я, естественно, собирался стихи писать, а не уравнения. Три года полной, безотчетной свободы! Пойду, сказал я себе, по стопам Житинского; диссертацию писать не стану; к концу срока сошлюсь на неспособность или еще что-нибудь, – но ведь к этому времени я уже пробуюсь в печать, смогу кормиться гонорарами от публикаций. При моей плодовитости как не пробиться!

Плодовитость была вот такая: в среднем по стихотворению каждые два-три дня. В декабре 1970 года – 11, в январе – 14 (из сохранившихся). Куда больше? И это – слишком, если быть серьезным. В феврале и марте 1971 года выдача на гора упала: соответственно 3 и 0. Я сдавал экзамены. В апреле, когда экзамены были сданы, выдача тотчас восстанавливается: 12 стихотворений. Всего за 1971 год сохранилось 130 стихотворений и набросков. Ужас! Ужас и стыд. А ведь было чуть ли не двести.

С 15 апреля 1971 года началась моя вольница: я стал аспирантом. Но еще раньше произошло кое-что важное.

ПОДРУГИ

Молодость цинична: старая истина. Старо и объяснение: детская жажда новизны словно бы оправдывает в наших глазах наш стихийный гедонизм. Другое оправдание – отсутствие общественной ниши. Нас еще словно бы нет, мы не социализовались. Не знаем, кто мы, не видим, кем должны и можем стать. Пребываем в растерянности, в рассеянности. В старину молодых людей направляла религия, помогали и жесткие, даже жестокие, нравственные нормы. Говорю это не шутя: традиция, а иной раз – и прямой домострой, выручает, освобождает от излишней свободы, от мучительных страстей,

раскрепощает мысль для высокого. Бетховен как-то отклонил любовь женщины вопросом: «Что же мне останется для лучшего?»

Отчего в двадцатом веке все мы так поздно выросли? Отчего в старину сущие дети вносили вклад в науку или культуру, а мы не могли? Ответ – не исчерпывающий, а частичный, – тут: в стихийном гедонизме, в циничной неразборчивости, в беспорядочности души человеческой и современного общества. Кем были бы Паскаль и Моцарт в наш век, да еще – в советском заповеднике, в провинциальной дыре советских столиц, на обочине истории и цивилизации?

Оправдание юношескому цинизму можно поискать и в примерах. Кто без греха? Блок ходил к проституткам; его Незнакомка едва ли не из них. Шуберт страдал сифилисом – и только ли он? Руссо, «лучший из людей», рассказывает о премилейшей вечеринке у своего приятеля, *пастора* Клюпфеля. Тот «нанял квартиру для девицы, которая, однако, не перестала принадлежать всем, потому что он не мог содержать ее только для себя». Однажды молодые люди порезвились вволю: «Болтовня и вино оживили нас. Добрый Клюпфель не захотел угощать наполовину, и мы, все трое, друг за другом прошли в соседнюю комнату к бедняжке, не знавшей, смеяться ей или плакать...»

А можно и не искать оправданий: рассказать, что лежит на душе, осталось в памяти, тревожит совесть. Не искать выгод, как Шопен у Пастернака. На этот путь и становимся.

В начале 1971 года я пришел к мысли, что проведу жизнь повесой-холостяком. Принцесса для меня не родилась – и она не нужна. Ни одна женщина не отвечает чудовищным максималистским запросам, вынесенным из детства. Несколько женщин сразу, именно сразу, – *с грехом пополам* ответить этим запросам могут. Женщины ведь и сами теперь таковы; одним возлюбленным не довольствуются. Брак – существенно коллективен, никто не принадлежит никому. В 1972 году я это отношение закрепил в стихах, выдав их за перевод из Асклепиада:

Я ласков с тобою и нежен с другой,
И совесть нисколько меня не тревожит.

Я занят собою, мне дорог покой.
И ты утешаешься тем же, быть может.

Эта философия облегчалась тем, что я почти не встречал отказа. Я и прежде нравился: высокий, спортивный, неглупый, занимается наукой, играет в волейбол, пишет стихи; всего понемножку. Но прежде как раз совесть меня тревожила, мешала мне, а тут – отпустила. Лихорадочное возбуждение последних месяцев, новые стихи чуть не каждый день, мое внезапное красноречие на литературных сходках, моя неожиданная для меня самого уверенность в себе – всё это еще усиливало мою привлекательность. В тех редких случаях, когда мое внимание к девушке не встречало с ее стороны немедленного отклика, я попросту отворачивался, и – не в первую очередь из гордости, как прежде, а просто оттого, что в других девушках недостатка не было. Что тот солдат, что этот.

Как это получалось на деле? Анекдотически просто. В объединение к Семенову, среди прочих, ходила (со своими незамечательными стихами) некто Л., не красавица и не дурнушка, молчаливая, сдержанная, старше меня. Я ее и раньше встречал, в других литературных кружках, но никогда за нею не ухаживал, не замечал. Однажды в пятницу, на очередном занятии в Выборгском ДК, я, по обыкновению, много говорил, забывая прочих. Л. слушала, не сводя с меня глаз; я обратил на это внимание и после занятия, ничего не имея в виду, отправился ее провожать. Ехать нужно было долго, в южные новостройки. Естественно, и в дороге, в метро, а потом в автобусе, я продолжал захлеб трактовать о стихах. Когда приехали, оказалось, что у Л. – отдельная однокомнатная квартира и что она там одна. Никаких объяснений не потребовалось, всё было словно бы само собою разумеющимся. Ночь с пятницы на субботу мы провели вместе. Запомнилась эта история вот чем: оказалось, что для Л. это вообще самый первый опыт. Усомниться в этом не было возможности.

Еще одна занятная деталь: Л. курила, но я уже относился к этому спокойнее. В промежутке она меланхолически сказала:

– Дай мне сигарету.

Для этого нужно было встать и подойти к столу. Превозмогая отвращение, я повиновался: понял, что в этих обстоятельствах нужно уступить.

Возвращаясь утром на Гражданку, я в транспорте сочинил стишок (а под стишком, по обыкновению, поставил дату, так что и дата встречи известна). Назывался стишок – *Письмо*. Он и в самом деле был отправлен к Л. по почте. Вот он:

Если что-нибудь и было,
Я случаен, нелюбим:
Если б ты меня любила,
Стало б небо голубым.

Может, сделались бы воды
Цвета заплаканных глаз,
Или чуточка свободы
Обнаружилась у нас.

Но печальны воды, небо,
Со свободой всё трудней,
А сердца тоскуют слепо
И становятся умней.

Продолжения, по большому счету, не было; было – по малому, и теперь уже совсем курьезное. При следующей встрече, почему-то в объединении на Нарвской заставе, у того же Семенова, она спросила меня с вызовом, давно ли я женат и сильно ли в нее влюблен. Я не стал прикидываться, сказал, что не женат, и свидания не назначил. Через неделю или две, уже на Выборгской, опять у Семенова, провожать Л. после занятия отправился Саша С. Меня разобрало любопытство. Адрес и дорогу я помнил – и поехал за этой парой, причем так, чтобы не отставать: в соседнем вагоне метро. Думал: подожду у парадной, посмотрю, надолго ли Саша задержится. Вошли в дом они при мне, а через несколько минут Саша спустился и ушел. Тут я сообразил, что если теперь я к ней зайду, меня, скорее всего, не выгонят. Так и вышло. После этого уже точно не было никакого продолжения.

Чтобы завершить эту неприглядную картину, приведу другие мои стихи, тоже – стихотворное упражнение того времени, никогда никому не читанное:

Двадцать первое число.
Всех куда-то унесло.
Где в такое воскресенье
От себя найти спасенье?

Дай-ка Оле позвоню
Может, скуку разгоню...
Впрочем, нет, она в отъезде,
На каком-то важном съезде
По турбинам и котлам –
Заседает по делам.

Катя за городом, в Луге,
Тоже бесится от скуки.
Ира замужем давно
И беременна к тому же,
Заглянуть – нарвусь на мужа.
Будет скучно и смешно.

Тане с улицы Восстанья
Не хватает воспитанья –
Всё хохочет, хоть вяжи...
Риту чорт унес в Кизи.

Жанна с позапрошлой ночи
В братских странах, у болгар.
Вика улетела в Сочи
Увеличивать загар...

Словом, некуда деваться.
Остается убиваться,
Зло по комнате бродить,
Где носок лежит под стулом,

И в висок зловещим дулом
Авторучку наводить.

Имена тут невыдуманные, сообщения – фактические, так оно и было. Комментировать нечего. Разве сказать, что «Таня с улицы Восстанья» – не молочная сестра Фики, а моя мимолетная знакомая. Фика и настоящая Таня в эти стихи не попали вовсе не случайно. Обе значили для меня слишком много. Только связью с ними я еще и тяготился к весне 1971 года – уж слишком глубоко в детство эта связь уходила, слишком важные струны задевала. Тяготился потому, что обе приобрели надо мною недопустимую власть, стали мне нужны, а я хотел быть свободен, совсем свободен. С начала 1971 года я стал их «выводить в свет»: Фику – к Семенову, Таню – главным образом к Кушнеру. Обе писали стихи, которые, после небольшой правки, годились для этих кружков; там читали и хуже. Я хотел «пристроить» подруг – и тем ослабить привязанность; увидеть, что им хорошо с другими, и успокоиться. Ни на минуту не допускал, что во мне проснется ревность. Строчку москвича Владимира Соколова – «Не уважаю неревнивых» – считал курьезом.

Я ЖЕНЮСЬ

В середине марта 1971 года, в день моего двадцатипятилетия, позвонила мне Аля Камаева. В школе, в восьмом классе, нас считали парой, но вышло иначе: Аля была замужем, имела двухлетнюю дочку. Позвонила в слезах: поссорилась с мужем. Он – гад, она всегда любила только меня. Обычная история. Женщину в таком состоянии можно брать голыми руками. Ее даже и приходится брать. Другого утешения она просто не поймет и не примет. Обидится.

Было воскресенье. Аля оставила ребенка с матерью, и мы отправились на зеленогорскую дачу. Зачем ехали, было ясно обоим, хоть я и перед собою в этом не признавался. Естественно, что в этих обстоятельствах каждая мелочь говорила в мою пользу, и всё – против мужа.

– Ты – не эгоист! – воскликнула она в сердцах после первых же объятий.

Эгоист я был полный и окончательный, отдавал себе в этом отчет без былой горечи, смирился с этим, принимал себя (наконец-то) таким, каков я есть, – но был польщен. Лесть – средство безотказное. Не родился еще человек, который бы на нее не клюнул. А тут было ясно, что импульсивная Аля не лукавит. Страсть мешалась у нее с любопытством, казавшимся мне таким милым, таким детским; мы ведь знали друг друга с четырнадцати лет, а тут – узнавали заново. «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, и выпуклую радость узнавания...». Она словно бы новый мир для себя открывала. Много ли нужно, чтобы взвинтить мужскую гордость? До этой встречи все мои подружки были девушками свободными, а тут – замужняя женщина не скупится на восторги. И как с нею легко!

«Стареющие женщины учили нас любви» – это сказано про кого угодно, только не про меня. Я всему учился со сверстницами, у сверстниц, из которых иные чуть-чуть меня опережали. Учился методом проб и ошибок, мук и обид. Помогали и книги, притом не одна Камасутра. Читая *Образы Италии* Павла Муратова (два толстых тома дореволюционного издания Таня принесла на несколько дней из спецхрана университетской библиотеки, где они были предназначены на выброс), я из его рассказа о Казанове вынес многозначительную фразу: «Четыре пятых наслаждения, получаемого мною от женщины, состоит в том, чтобы доставить наслаждение ей». Сперва я тут увидел пустую похвальбу, а потом задумался. Спасибо Муратову: он во всем противопоставляет Казанову дону Жуану. Дон Жуан у него – пошляк, коллекционер, обманщик и обидчик; Казанова – художник. Чувственную любовь он возвысил, вплотную придвинул снизу к тому потолку, выше которого – уже любовь полноценная. В один прекрасный день я понял, что слова Казановы – практическая рекомендация, конкретный счет. Он попросту задает пропорцию. Сколько мук ушло, каких обид стоило ее освоить! Никогда не забуду фразу, сказанную мне однажды в любовном пылу одной навсегда утраченной подружкой: «Ты можешь не спешить?». К моменту встречи с Алей все эти ужасы были позади; оставалось пожинать лавры.

Лесть, повторим, инструмент безупречный. Я устал от немого упрека в женских глазах. Куда приятнее восхищение, при-

том не бессловесное. Аля осталась той же школьницей-обезьянкой, белокурой резвушкой и хохотушкой, с живой мимикой, милыми гримасами, легкими эмоциональными взрывами, находящимися неожиданный, хоть порою и безвкусный, выход из слова. Добавилась женственность, а теперь и это восхищение. Она ничего не смыслит в стихах? Но разве она одна! Не смыслит даже те, кто пишет. Она не понимает музыки, хоть и бречит на пианинах? Что за беда! Другие и нот читать не умеют. Зато человеческое тепло рядом с нею гарантировано. Она – на крючке; я теперь по отношению к ней старший.

Еще полные пространствами, мы отправились в привокзальный ресторан. Аля красила губы – даже это мне не мешало; я эти губы знал со школы. Вся гамма старых полудетских переживаний всколыхнулась, была тут, и – в новом, взрослом контексте. Нужно ведь когда-нибудь взрослеть?

В электричке, на пути в город, в ходе оживленной болтовни, я подспудно начал приводить в порядок свои чувства. Выходило, что теперь Аля нуждается в моей защите. Как ей, влюбленной в другого, возвращаться к мужу? Честный офицер обязан защитить женщину. Я тоже чувствовал себя влюбленным – не до беспамятыства, нет, упаси бог, такого (отмечал я про себя с радостью) и вообще не бывало, а ровно настолько, чтобы начать строить планы.

Мысль приняла неожиданный оборот. Я говорил себе: удастся обыкновенно не первый, а второй брак. Почему не попробовать? Рано или поздно женитьбы не миновать, а тут лямка будет легкая. Любовь бывает безоглядна, брак – всегда по расчету. Тут каждое лыко в строку. Как элемент расчета на чашу весов кладется даже любовь. Она – капиталовложение, осуществляемое через труд. Любовь ведь труд, и труд сладкий. Разве не в радость трудиться для милого, для милой? Да и прямой расчет не постыден. Когда Державин сделал предложение влюбленной в него Даше Дьяковой, та, прежде, чем дать согласие, потребовала от него приходно-расходные книги и держала их две недели. Встану на этот путь. Мне, кстати, и проверять нечего; Аля – богатая наследница, да и сама (хоть и немисливо вообразить эту вертушку инженером) работает на авиационном заводе, то есть получает

нормальные деньги. Что до моей постылой свободы, то ведь и с родителями я не вполне свободен. Жить с ними, зависеть от них – унизительно. Мне уже двадцать пять. С Алей же, я это чувствовал, свобод не убавится, поводок будет длинный. Даже и прямую неверность она проглотит – куда ей деваться после моих *feats of valour*, при ее влюбленности, при моей вулканической энергии? Пока я сочиняю стихи (чудилось мне), я вообще неуязвим. Стихи – мой щит и меч в любых обстоятельствах, при любом повороте судьбы. Хорошо и то, что Аля – не писаная красавица, с такими хлопот не оберешься, голова вся уходит в одно место (по скабрёзному замечанию Пушкина). С лица – не воду пить. Словом, она подходит по всем статьям.

Почему не подходили другие? С Фикой и Таней был общий воздух: стихи, Вивальди, Боттичелли; Рита и Катя годами хранили мне верность, были влюблены жертвенно и самозабвенно, привязаны – рабски (но именно это и мешало в них: нехватка самостоятельности). Почему Аля? Потому что она возвращается ко мне. Еще вчера – не попадала в мой радиус действия, а сегодня – пожалуйста: выпуклая радость узнаванья. Что имеем, не храним; потерявши, плачем.

Будь у меня в ту пору отдельное жилье, пусть хоть комната, не то, что квартира, вся жизнь могла повернуться иначе. Скорее всего, я бы вообще не женился, последовал бы совету молодого Пушкина или хоть Городницкого («Не женитесь, поэты!»). Повороты судьбы слишком часто определяются такими вот прозаическими вещами, как жилплощадь.

Дома меня ждал сюрприз: в мое отсутствие приезжала Фика – поздравлять меня с днем рождения. На столе в моей комнате я нашел подарки: красную гвоздику в узкой стеклянной вазе и блокнот, тяжелый, в темно-синем переплете с эмблематическим изображением фонаря на Троицком мосту, с глянцевой бумагой, – для стихов. Милая! Она знала, что подарить. На минуту мне стало не по себе: я увидел Фику с немим упреком в глазах, но тотчас прогнал видение. Блокнот (стойкий, вероятно, дешевле цветка) сначала мне не понравился, но тотчас пошел в дело. Больше я с ним не расставался. В нем – наброски ста с лишним стихотворений. Несколько страниц вырвано...

Выврваны страницы и в другой, переплетенной книжице под поспешным и опрометчивым названием *Это я, Господи!*, где одно стихотворение начинается словами: «Переплету черновики...». Я знал, что перечитаю свои наброски много лет спустя и буду иных стыдиться, – но дорожить ими не перестану.

Аля жила в Политехническом парке, в пристройке к химкорпусу, в пятнадцати минутах ходьбы. Мы продолжали встречаться. Всё было решено. Стали подыскивать квартиру. Я выпросил у Али фотографию ее дочки Ани (в 1990-е годы она каким-то чудом перебралась в Америку) размером А4 – с тем, чтобы приучиться любить этого ребенка. Я ходил за Аней в детский сад – не один, впрочем, а с Алей. Я встречался с мужем Али, и мы поговорили как мужчина с женщиной. Камаев уступал Алю без борьбы. Ленинградскую прописку он уже получил, карьеру мог продолжать без помощи тестя-доцента. Забирай жену, зальем вином, потерял одну, так пять найдем. Оставалось успокоить мою мать, которая никак этого брака не хотела, – настолько не хотела, что мобилизовала некоторых из моих старых подруг (их она раньше тоже не хотела, но теперь они представлялись ей меньшим злом), в частности, Таню и Фику. Обе, однако ж, чувствовали себя оскорбленными и вмешаться не пожелали.

Тут меня осенила гениальная мысль. Фотография двухлетней девочки, решил я, поможет мне освободиться от моего прошлого. Первым делом я отправился к Ларисе Р. из АФИ, которая жила рядом, на Гражданке. Мы поговорили о стихах (она, как и вообще все вокруг, сочиняла), о том о сем, затем я извлек из сумки фотографию и сказал:

– Посмотри, какая милая девочка. Говорят, что это моя дочь...

Лариса поджала губы, но не сказала ни слова. На прощание не позвала в гости. Больше мы не виделись.

Тем же приемом была отстранена Наташа П. из семеновского кружка и еще две-три подружки. Некоторым, помучившись, я вообще не стал сообщать; узнают сами. Наташа поняла меня неправильно и повела себя неожиданно: предложила себя в качестве спасительницы. Об этом я узнал от мамы, с которой она говорила по телефону. Так и сказала: «Я его спасу!»

Ту же фотографию, в чем совсем уже не было никакой необходимости, и с теми же словами показывал я и женатым друзьям: Житинскому, Скобло, Ескину. Создавал общественное мнение. Чуть-чуть красовался при этом, дурак.

Оставалось самое неприятное. Таню помню в слезах у занавески балконной двери, где ее мать разводила герани. Фику, по совету моей матери, я сводил в кафе *Север* на Невском. Было это в среду, 24 марта. Убеждал ее, что мы можем и должны остаться друзьями; чувствовал, что боюсь совсем потерять ее, а вместе с тем чувствовал и то, что мои увещевания – пошлость и подлость. Разговор был мучительный. Его не облегчили два спортсмена в куртках московского *Динамо*, подсевшие за наш столик; они пытались ввязаться, учили нас жить, поддразнивали. Из их слов следовало, что они считают нас мужем и женой. Один принялся рассуждать о том, что Ленинград – дыра, а Москва – столица мира. Я не откликался, демонстративно не обращал на них внимания, говорил вполголоса только с Фикой. Она совсем умолкла, потом ушла в уборную, вернулась с влажными глазами. Но в пятницу 26 марта, у Семенова, она была спокойна.

Я ВЫСТУПАЮ

В пятницу 26 марта, у Семенова, к концу занятия меня поздравили: надо же, ты выступаешь в Доме писателя! Я ничего не понимал. Мне показали программку: снаружи маленького листа, свернутого тетрадкой, – красный профиль Маяковского, на обороте – «Дом писателя им. Маяковского, ул. Воинова, 18», внутри разворота, синим по белому, – невероятное:

Семнадцатый вечер поэзии и музыки

Воскресенье 28 марта 1971 г.

Выступают поэты:

Виолетта Иверли

Юрий Колкер

Виктор Топоров

Вечер ведет член Совета Дома Н. Грудина

В программке было две ошибки, даже три. Первая – идеологическая: поэтами разрешалось называть только членов союза писателей, принятых по секции поэзии. Кружковцы тотчас это отметили: смотри-ка, мол, ты уже поэт! Дайте-ка поглядеть на живого поэта!

Вторая – в написании; Виолетта на самом деле именовалась не Иверли, а Иверни (фамилия, располагающая к шутке, шутили же так: «возвращать некому»). Ее я смутно помнил по конкурсу в элитарное объединение Семенова в 1968 году. Читала она тогда что-то густо стилизованное под народность (или под Цветаеву); была стара (мне чудилось, что ей полных тридцать лет; люди так долго не живут) и, видно, мнила себя красавицей, у меня же тогдашнего вызвала свою внешностью почти тошноту. Ее и считали красавицей – и в ту пору, и позже, в Париже, считали все или многие. Уже в качестве парижанки она гостила как-то в Израиле у переводчика Б. Тот три дня возил ее по стране, а на четвертый сказался занятым. «Не беспокойся! – меланхолически отозвалась с кушетки Виолетта. – Желаящие всегда найдутся...». Не понимал красоты этой дамы я один. Та семеновская сессия, в 1968 году, запомнилась мне как раз двумя вещами: напомаженной, пышной и рыхлой Виолеттой, ни по возрасту, ни по внешности (не говоря уже о стихах) не годившейся в поэты и возлюбленные (всё для нее должно было быть в прошлом!), да словами Семенова, обращенными к нам: «Давайте курить!», после которых Виолетта, продолжая читать свои стихи, немедленно закурила толстую папиросу. Я был поражен: Семенов, выходит, даже мысли не допускал, что некоторые могут не выносить табачного дыма.

В качестве музыкантов 28 марта должны были выступать пианисты Нина Лозовская и Леонид Спивак. Естественно, грудининские «вечера поэзии и музыки» были компромиссом, уловкой, приспособлением типа «и вашим, и нашим». Нельзя было устроить «вечера поэзии» с выступлением *недопоэтов*, не членов союза, а в компании с *недомузыкантами* – можно; поэзия этим немедленно принижалась. Музыкантов выпускали между поэтами, чтобы публика не разбежалась. Что музыканты, выступающие на таких вечерах, не первого

разбора, следовало уже из их готовности выступить не на музыкальных, а на литературных подмостках, при том, что в музыкальных нехватки в городе не было. Тем самым получался капустник, выступление дилетантов. Но для пишущих, которых годами не пускали ни на какую сцену, это было выходом, событием.

Наталью Иосифовну Грудинину я не видел с июня 1970 года – и, по совести говоря, забыл. Семенов и Кушнер, моя *vita puova*, заслонили ее. Грудинина, по логике вещей, тоже должна была бы обо мне забыть, а вот вспомнила, не иначе как потому, что какой-то отдаленный слушок в городе обо мне пошел. Забыл я не только Грудинину: самая идея этих вечеров поэзии и музыки показалась мне новостью, а ведь когда-то Грудинина, можно не сомневаться, упоминала о них и обещала выпустить меня. Тут – вспомнила и выпустила. Если б при этом она еще вспомнила номер моего телефона и предупредила меня! Не попади мне в руки программка, я бы о своем выступлении узнал задним числом.

Третья ошибка в программке выяснилась в самый день выступления. Вместо Виолетты Иверни выступала Елена Шварц.

ВЕЧЕРИНКА НА ГРАЖДАНКЕ

Я переживал небывалый душевный подъем: всё складывалось как по мановению волшебной палочки. Лёд тронулся. Кандидатские экзамены (не вступительные) были сданы, меня зачислили в аспирантуру с 15 апреля 1971 года; я получил солидную толстую книжицу, аспирантское удостоверение, а главное – волю на целых три года. Вечер в Шереметевском особняке довершал картину внешнего успеха.

В субботу, 27 марта, я устроил вечеринку по случаю поступления в аспирантуру. Были: пара из АФИ, Галя Иоффе и Гриша Эпельман (они развелись многие годы спустя в США), другая пара, из моих знакомых, Марина Вятскина и Вова Цейтлин, Саша Житинский с его первой женой, тоже Мариной, и Фика. Аля почему-то отсутствовала. С Мариной Вятскиной я учился на физ-мехе, вяло за нею ухаживал, а потом познакомил ее с моим одноклассником волейболистом Вовой. Эти двое тоже

потом разошлись. С Фикой я уже простился, но хотел удержать ее как друга, потому и позвал. Мне было приятно, что она не пренебрегла приглашением.

Моя мать хорошо готовила, любила принимать гостей. Стол был накрыт в моей комнате, танцевали – в родительской, в полутьме. В моде была тогда музыка сиртаки и греческая мандолина. Отец задержался на работе или в Публичке, мать, отслужив за столом и поболтав с Житинским, которого уважала за солидность, ушла к приятельнице-соседке этажом ниже.

С самого начала вечера, еще за столом, я всё время ловил себя на том, что Фика похорошела. Была она весела, оживлена и улыбчива, за словом в карман не лезла. Заметив, что Житинский обхаживает ее, я обрадовался: она утешилась, она пристроена, она нравится мужчинам. Танцевал Житинский только с нею, жену не замечал настолько, что Марина, сославшись на брошенных детей, скоро ушла домой. Пили, по обыкновению, изрядно; веселились вволю; пирушка удалась. Отец, явившийся к концу вечеринки, спугнул Житинского и Фику, целовавшихся у балконной занавески. Когда разошлись, Житинский отправился провожать Фику домой, на Омскую улицу.

ВЫСТУПЛЕНИЕ, НО СПЕРВА ОТСТУПЛЕНИЕ

Мне и прежде случалось выступать перед большим залом – на студенческих вечерах в Политехническом институте. Выпускали меня со стихами между главными номерами самодеятельности и в качестве интермедии к встречам команд КВН (клуба веселых и находчивых). У меня в институте была репутация поэта. Она сослужила мне некоторую службу: в 1966 году как «наш поэт» я попал со студенческим строительным отрядом в Чехословакию (там комсомольские вожди меня разглядели, и уж больше я никуда не попадал). На вечерах мне хлопали, аплодисменты не были мне в диковинку.

Студенческая самодеятельность была у нас нешуточная. Заводила Борис Цейтлин, мой сокурсник по физ-меху, стал потом

профессиональным режиссером. Делал он вещи рискованные. Не знаю даже, как это сходило ему с рук. Помню сцену, переиначивавшую знаменитый диалог Гамлета и Полония: «— Что читаете, милорд? — Слова, слова, слова... программу КПСС...». Помню, что как-то разыгрывалась поэма Бродского *Шествие* — к моей досаде, мне всё казалось тогда, что эти четырехстопные ямбы — вчерашний день; я никак не понимал, что тут люди находят (а находили, естественно, не стихи, находили имя).

За стихами, когда они были нужны, обращались в институте ко мне, и на первых двух курсах я откликался, сочинял что-то. С третьего — у меня начались сложности. Все стихи перестали мне нравиться, свои и чужие; почва уходила из-под ног. Когда Борис Цейтлин попросил меня написать стихи к его постановке *Голого короля* Евгения Шварца, я отказался. Театра я не любил и не понимал, Шварца — не прочел. Ясное, как день, миропонимание Шварца не давалось мне, шло слишком сильно вразрез с моим тогдашним, смутным, неоформившимся сознанием, с поиском философского камня. Тогда Цейтлин обратился к Житинскому. В 1966 году я в компании с Галей Т. (моей Беатриче) оказался на его *Голом короле* в студенческом клубе (Лесной проспект 65) — и был потрясен результатом: и самим спектаклем, его смелостью, и стихами Житинского, которые исполнялись под гитару.

Жил-был сказочник седой
С неизменной бородой.
Он писал свои сказанья
Только розовой водой.

Жил-был сказочник другой,
Востроносый и лихой.
Он писал свои сказанья
Только левою ногой.

Жил был третий, молодой,
Знался с горем и бедой,
Но писал свои сказанья
Лишь лучистой звездой.

В ту пору, конечно, рифма «седой–бородой» казалась мне симптомом психического расстройства, да и стихи эти были жидковаты, но под гитару, как это всегда бывает, они приобретали значительность и заставляли задуматься. Тут присутствовала целая творческая программа: в первой строфе отвергается советская литература, во второй – вторая литература, полуподпольная, диссидентская, в третьей – намечается третий путь, путь самого Житинского. Поразило меня и то, что автор определяет себя словом *молодой* – это в двадцать-то пять лет! Мне было двадцать, и я считал себя конченным человеком. Если в двадцать лет «ничего не сделано для бессмертия», пора манатки собирать.

Актальный зал Политехнического института был человек на шестьсот, больше зала в Шереметевском особняке, но одно дело – студенческая самодеятельность, а другое – Дом писателя. Я давно не выступал и волновался. Оказавшись за кулисами, не нашел там Грудининой, на чью поддержку рассчитывал. Вечер вел кто-то другой, незнакомый. Знакомых вообще не было, а между тем все собравшиеся за кулисами друг друга знали, оживленно болтали, чувствовали себя, как дома. Явился Топоров, солидный, важный, в сопровождении привлекательно-отталкивающей подружки (мне показалось: жены) из числа «европеянок нежных», которых я всегда сторонился. Первым делом он достал пачку импортных сигарет, предложил сигарету спутнице и сам закурил. Одеты оба были так нарядно и дорого, что даже я это заметил. Держались, как хозяева жизни.

Топорова я смутно помнил по грудининскому кружку при дворце пионеров. Как Цезарь у Торнтон Уайлдера, он всегда казался сорокалетним – уже в пятнадцать лет это было так. Взрослый, твердо стоящий на ногах человек, с ясным будущим, из приличной семьи. Рядом с ним я чувствовал себя беспризорником, оборванцем, сиротой.

Топорова ожидало большое будущее. С наступлением свобод он стал одним из начальников питерской литературы – в качестве критика, публициста и организатора. Вошел и в историю поэзии, но не как поэт: в начале девяностых издал антологию ленинградской поэзии, в которую не включил Кушнера.

Елену Шварц я в тот день увидел как впервые; по дворцу пионеров ее не помнил. В 1971 году ей было двадцать три, а выглядела она совсем школьницей и была хороша: ничего отталкивающего по моим тогдашним жестким меркам. Пьяные скандалы с битьем фамильного фарфора и чуть ли не наркотики, всё, что о ней сообщала молва, отскакивало, не вязалось с ее внешностью. Что она гениальный поэт, во второй литературе было общим местом. Отдавали должное ее таланту и люди официальные, в том числе Семенов и Кушнер. С началом эмиграции имя Шварц стали упоминать «по голосам». По нашу сторону границы это означало «широкую известность».

Я выглянул из-за кулис. Зал был полон; пришли слушать Шварц, ей анонс не требовался. Стиль ее поведения в глазах многих свидетельствовал о ее таланте больше, чем стихи. Я потом научился отличать таких ценителей: не понимая стихов, они заключали об одаренности поэта, исходя из его внешних проявлений. Такие не понимали Заболоцкого, не понимали Кушнера и Житинского.

Ряду в десятом я увидел Фику и ее подружку Свету Чернокозову.

Читал я первым, по алфавиту. Хлопали мне вяло, Топорову – чуть оживленнее, а Шварц – так, что во мне на секунду шевельнулась зависть. По-настоящему завидовать я не мог вот почему: ее стихам, безусловно талантливым, не хватало стройности, «прекрасных соразмерностей», которые были для меня в ту пору дороже всего. Выбирая между гармонией и мелодией (если говорить на языке музыки XVIII века), я ставил на гармонию, оставался с классицизмом, не верил романтизму. Выразительность – подождет, правильность – ждать не может: вот что было у меня на уме. Правильности стихам Шварц слишком явно недоставало. Вкус изменял ей на каждом шагу. Я был убежден, что преимущество моего ветхого подхода очень скоро станет очевидным, притом благодаря моим стихам. Нужно только чуть-чуть терпенья набраться – и не дорожить любовью народной.

В перерыве мы с Фикой перемолвились несколькими словами. Всегда сдержанная, она была на этот раз холодна. Еще бы! Упрекнуть ее было невозможно. Но и поддержки, столь мне не-

обходимой при моем полном одиночестве в этом зале, ждать не приходилось.

Когда расходились, я вдруг увидел Житинского. Он шел по боковому проходу в компании высокого пожилого человека, лысого и статного, с военной выправкой. Я, было, кинулся к нему, но тут же почувствовал, что не стоит перебивать их беседы, что Житинский не хочет этого. Не видеть он меня не мог, однако ж даже не кивнул мне в ответ. К тому же я был изумлен. Я спрашивал себя: что мог делать тут, в Доме писателя, его отец, бывший военный летчик? Видел я его один-единственный раз, но сейчас не сомневался: это он. От перевозбуждения в голове у меня случился дом Облонских. В гардеробе мы с Житинским столкнулись нос к носу, он был один, и тут я свой вопрос задал. Оказалось, что это был вовсе не его отец, а поэт Всеволод Азаров (бывший моряк). У меня немедленно возник новый вопрос: я ведь видел, что они говорили, как обычно говорят между собою свои люди, давние друзья. Что Житинский ходит в объединение Азарова, я почему-то не знал. Но этого второго вопроса я не задал. Осекся, увидев что и сейчас Житинский говорить со мною явно не хочет. Что бы это могло значить? Ведь я считал его другом. Ушел я один, совершенно обескураженный.

БРОДСКИЙ СНИЗУ И СБОКУ

Говорили (была в советское время такая шутка), что из трех качеств – честный, умный и партийный – человеку доступны только два. Если ты честный и умный, ты беспартийный; если ты честный и партийный, ты неумен; если ты умный и партийный, ты бесчестен. Когда эту шутку пересказали знаменитому обозревателю Би-Би-Си Анатолию Максимовичу Гольдбергу, убежденному социалисту, не жившему в СССР, он возмущился. Возмутимся и мы: Окуджава был честен, умен, талантлив – и состоял в партии; ему пришлось; так обстоятельства стеклись; видно, в армии вступил, во время войны. (На этот счет была другая шутка. Уходя на опасное задание, солдаты – учил нас советский кинематограф – нередко оставляли записку: «Если не вернусь, считайте меня коммунистом». Народный юмор добавлял: «А если вернусь, не считайте»)

Шутка о трех качествах рисовала правильную картину. Я вспомнил ее в связи с Глебом Семеновым. Он – пример честного писателя, интегрированного в систему. Он состоял членом Союза советских писателей – да и кто бы отказался? Это была колоссальная привилегия. Будучи честным и умным, систему ненавидел и презирал. Будучи человеком, порвать с нею не мог. Что с вилами на паровоз кидаться? Раздавит и не заметит. Особенно в Ленинграде; в Москве хоть иностранные корреспонденты есть.

При начале нашего знакомства, когда я его еще мало знал, Семенов в моих глазах отчасти представлял эту подлую и бездарную систему, мир официальной советской литературы – потому-то я и удивился, когда он однажды прямо на занятии в Выборгском дворце культуры назвал Бродского талантливым поэтом. Было это в 1971 году и вот в каком контексте: речь шла о плодovitости. Семенов утверждал (чуть ли не в связи со мною), что писать слишком много – плохо; что настоящий поэт работает над словом долго; но оговорился, что знает по крайней мере одного очень талантливого поэта, который по временам писал запоем: Бродского.

До этого мне от официальных людей приходилось слышать, что Бродский – неважный поэт, но хороший переводчик. (Так думала и Грудинина; она, в точности по анекдоту, была честна, партийна и неумна; в пору гонений на Бродского защищала его со всем пылом последней честной коммунистки.) Переводчик скорее, чем поэт, – это согласовалось с моим впечатлением. Четыре строки из одного перевода Бродского я запомнил крепко. Были они из мультфильма по древней армянской легенде о гордой царевне, которая говорит:

Из юношей только тот
Станет мужем моим,
Кто огонь принесет,
Который неугасим.

Дальше там, в мультфильме, юноши добывают с риском для жизни какое-то особенное пламя; какой-то вечный огонь. Символика не сразу до меня дошла, когда же дошла, задела за

живое. Я и сам мучался этим вопросом: «На время – не стоит труда...»

Что же до оригинальных стихов Бродского, то я их знал, хоть и фрагментарно, с пятнадцати лет – и никогда ими не восхищался. В дивном *Рождественском романсе* меня тревожил стих «Пчелиный рой сомнамбул, пьяниц». Трудолюбивые пчелы представлялись мне воплощением трезвости, отрицанием сомнамбулизма. Позже мне попались в списках внутренние рецензии на рукопись книги Бродского, представленную им в издательство *Советский писатель*, но в свет не вышедшую. Ходили они по рукам как курьез: с тем, чтобы рецензентов высмеять (мне чудится, что одна из рецензий была написана Семёном Ботвинником); однако в них не все упреки были вздором. Сам я, когда писал о Бродском в 1987 году, нашел у него кучу *наполнителей*: ненужных слов, не служащих мысли и звуку; вообще убедился, что по мастерству он уступает некоторым известным современникам, в том числе – Кушнеру, а из младших – Кублановскому, Кенжееву. Даже в *Письмах к римскому другу*, которые люблю, есть это: «Вот найдешь себе какого-нибудь мужа...». Я твердил: не знаешь, *какого*, не пиши стихов. Эпитет не должен быть пуст.

Те, с кем я сошелся на *Большевичке*, Бродского ценили. Валерий Скобло явно прочел его внимательно; Володя Ханан в некоторых стихах не свободен от Бродского. Отношения Кушнера с Бродским – давняя и долгая история; тут много спорили, обвиняли Кушнера в зависимости от Бродского, не понимая, что лирические герои этих двух поэтов уж слишком непохожи, а сюжет – не предмет заимствования, он не принадлежит никому.

Все вокруг знали Бродского лично, я – не видел его в Ленинграде ни разу. Увидел случайно лишь в эмиграции, в Лондоне, за два или три года до его смерти, и знакомиться не стал. Повлиял же на меня Бродский вот как: после его отъезда (он уехал в 1972 году) я где-то высказался в том смысле, что хоть сам я для себя эмиграцию исключаю, но нельзя отнять у человека права жить там, где он хочет, – словом, не осудил его отъезд. После этого публикации в Ленинграде у меня прекратились, постепенно сошли на нет и в других городах. Конечно,

тут мог сработать и другой механизм: просто мои стихи стали лучше, а ведь в редакциях (я с удивлением отметил это после первых же контактов с ними) всегда, неизменно и безошибочно, отбирали худшее. Могли сказаться и общие причины: в середине 1970-х сильно подморозило после суда над полуподпольными писателями Михаилом Хейфецем и Владимиром Марамзиным (в ту пору этой перемены климата я не признавал). Так или иначе, но последний раз в СССР (в Москве) мои стихи были напечатаны в 1975 году, притом под псевдонимом. С 1981 года начались публикации за границей. Косвенно – Бродский способствовал моему эскапизму и моей эмиграции. Прямо – в этом была виновата бездарная власть. Именно бездарная; в те дни это, а не жестокость, стало ее главным отличительным признаком.

«Трагическое мирозерцанье тем плохо, что оно высокомерно», – говорит Кушнер, имея в виду Бродского. На это возразим так: мирозерцанье (как времена) не выбирают, и оно меняется. Мое – было трагическим до 1970 года, стало гедонистическим в 1970 году и опять трагическим – в 1975-м.

Невозможно обойти стороной разговоры о том, что Кушнер будто бы завидует Бродскому. Мне они смешны. Во-первых, они обычно исходят от тех, кто сам завидует. Во-вторых и в главных, чтобы завидовать, нужно допускать или хоть догадываться, что ты – хуже; Кушнер же никогда не считал себя хуже Бродского. Его логика (на которую не возразишь) видится мне вот какой: талант на весы не положишь, а мастерство – кладется; цыплят по осени считают; живущий несравним; сосредоточимся на несомненном: на том, чтобы стихи были хороши, а прочее отложим; приговор поэту выносит суд нескольких поколений. Такова, во всяком случае, *моя* логика, которую я ему приписывал; и слова тут мои, не Кушнера.

Ревность к удачам Бродского Кушнер наверняка испытывал, это неизбежно внутри поколения; но ревность – не зависть. Не славе же Бродского мог он завидовать? Такая постановка вопроса близорука, если не глупа. Отчего тогда не завидовать славе Евтушенки? Этот славой не то что Бродского, этот и Шекспира с Гомером заткнул в России за пояс, а вместе с тем все, кто не слеп, знали и знают ему цену. Но и Евтушенко

– карлик рядом с Аллой Пугачевой или Высоцким, муравей рядом с Элвисом Пресли или Марадоной. О чем у нас речь? Не о стихах ли? Тогда назовем вещи своими именами: поэзия – маргинальная часть современной культуры, пикник на обочине. Пишут и читают стихи – сумасшедшие. Разве это не сумасшествие: для звуков жизни не шадить? О какой славе речь – в наше жалкое время, в нашем жалком месте? Завтра самое громкое из имен сегодняшних русских стихотворцев сотрется из памяти человеческой, не то, что стихи. Отношение к стихам может быть только религиозное.

ДВА РОМАНА

Два романа развивались в параллель, но очень по-разному: мой – с Алей Камаевой, фикин – с Житинским. Первый роман шел под уклон, второй – в гору. Квартиру для нас с Алей помогла найти моя мать, смирившаяся с моим решением. Квартира была на Институтском проспекте, то есть «недалеко от дома» (и детского сада), но даже это не сгладило удара: первый же взгляд на убранство чужого жилья выдвинул на передний план то, что я надеялся перешибить своим переизбытком энергии и о чем старался не думать: быт, предстоящую лямку. Вот тут, среди этих мертвых вещей, будем обитать мы с Алей, и не вдвоем, а с ее дочерью Аней. Прощай, мой письменный стол, мои ночные бдения, мои озарения, моя свобода! Я приуныл, начал сомневаться в затеянном предприятии, подумал: а вдруг не сдюжу? К чему всё это? У Али энтузиазм тоже пошел на спад. Ей предстоял развод. Она окунулась в связанную с этим казенную волокиту. Ходить по иным инстанция нужно было с мужем, который сообразил, что он при разводе теряет, и подобрел. Алю потянуло к спокойной жизни. Мои сомнения тоже от нее не укрылись. В какой-то момент она сказала:

– В конце концов решайте сами! – имея в виду меня и Камаева; решайте, мол, сами, с кем я остаюсь. Тут я понял, что дальше мне неинтересно.

Житинский требовался мне дважды в неделю: каждые три дня я сперва звонил, а потом бежал к нему в Политехнический с моими новыми стихами – и за его новыми стихами; писал он

не меньше моего, всегда было, чем обменяться. Его внезапного охлаждения ко мне я не понимал, но не видеть не мог. Оправдывал делами (он как раз заканчивал аспирантуру); говорил себе, что излишнего пыла он и раньше в нашей дружбе не обнаруживал, вообще был сдержан.

При первой же встрече после вечеринки он (на садовой скамейке) сказал нечто странное:

– Я сделался каким-то духовником. Ко мне приходят душу изливать – словно за отпущением. Рассказывают свою жизнь. Особенно женщины – в слезах, с исповедями о неудачных романах...

Это был пробный шар, он ждал моей реакции, но реакции не последовало. Оторвавшись от текста, я на секунду вообразил себе его сослуживицу и ровесницу, замужнюю женщину в теле, но тотчас вернулся к своему: к метафорам и рифмам. Он, тем самым, получил ответ, притом правильный. Своим равнодушием я снял с него ответственность. Можно было продолжать. Начиная же он, нужно полагать, как честный оппортунист. Женщина в слезах, обиженная возлюбленным, падает в твои объятия, как зрелый плод. Влюбленности, пыла – от прохладного и осмотрительного Житинского нельзя было ожидать. Я знал, что он – хороший семьянин; если не жену, то уж детей точно любит по-настоящему. Да и вообще – куда ему? Сух, немолод (ему тридцать лет), не ослепительно хорош собою, зубов не хватает.

К Фике на работу, в здание Двенадцати коллегий, он поехал в первый же понедельник – 29 марта, и дальше ездил чуть не каждый день. Она поначалу недоумевала; написала в дневнике: «Неужели он на что-то рассчитывает?». Но очень скоро откликнулась всем сердцем; «женщина любит ушами». Встречались в обеденный перерыв, гуляли на стрелке Васильевского острова и на Заячьем острове (по вечерам Житинский должен был быть с семьей); изредка виделись по выходным, ездили в Репино. Первое связанное с нею стихотворение датировано 30-м марта:

Ты – с картины Боттичелли!
Будет то, что быть должно.

Ведь сходить с ума в апреле,
В самом деле, не грешно.

Про Боттичелли она ему сама объяснила – не то, что «она с картины», а то, что есть такой художник; трактовала по Павлу Муратову. Общеввропейская любовь к Боттичелли докатилась до России, спасибо большевикам, с опозданием лет на восемьдесят, когда в Европе она давно уже схлынула.

Эти стихи нехороши, но дальше появились замечательные. Два или три стихотворения и сегодня кажутся мне шедеврами: таким живым чувством они продиктованы. Оглядываясь на эту историю, я потом спрашивал себя: что Житинский нашел в Фике? Красавицей ее нельзя было назвать ни при каком раскладе. Неужто не мог найти лучшей – при его уме и таланте? Ответ получался такой: ее естественность и деликатность, умение не быть навязчивой, внутреннюю свободу и культуру. Не то что Боттичелли, даже звездное небо – и то она ему истолковывала; показала созвездье Орион, немедленно попавшее в стихи. Третьего апреля, в пятницу, он подарил ей *Молодой Ленинград* на 1970 год со своей публикацией и дарственной надписью: «Фике, милой моей девочке...». Роман развивался стремительно. К середине апреля оба были заняты только друг другом.

А между тем приближался день, когда мы с Алей, еще не охладевшие друг к другу, собирались отмечать начало нашего супружества. Фика сказала, что в городе в этих числах не останется; чего доброго, я еще приглашу ее на свадьбу, видеть же меня она больше не хочет, – ни меня, ни Алю, которую презирала со школьных лет. Житинский предложил Фике уехать куда-нибудь вместе. Она согласилась. Выбирали между Крымом, откуда Житинский был родом, и Москвой; выбрали Крым. Под Феодосией у Фики появился в 1970 году друг и поклонник Валера; она с ним переписывалась; он звал в гости. (В письмах спрашивал: «Почему с тобой так хорошо?». Она отвечала: «Потому что с другими плохо») В Москве у Фики был давний обожатель Володя Гомзяков; она бывала у него; матери можно было объявить, что едет к нему. Вопрос упирался в деньги и время. Фике предстояло бросить на неделю занятия на вечер-

нем филфаке; у нее оставались десять дней от очередного отпуска; брать за свой счет она при ее бюджете не могла. Житинский тоже был не при деньгах, не хотел отрываться от семьи, зато временем располагал. Экономия, хоть и небольшая, была достигнута вот как: на студенческом билете Фики он поставил фальшивый штамп о ее переводе на дневное отделение; это давало право на скидку в железнодорожной кассе – и сработало. Изготовил штамп сам, искуснейшим образом вырезал и оттиснул, а в нужном месте расписался. Он же написал письмо от имени обожателя Валеры – с приглашением в гости и соответствующим штемпелем на конверте, тоже аккуратно подделанным. В среду двадцать первого апреля они уехали в Крым. Перед этим несколько дней не встречались – чтобы не раздумать. Испуганы были оба:

Воскресенье, понедельник, вторник...
Ты затворница, а я затворник.
С точностью известно: до среды
Не случится никакой беды.

Перед самым выездом он сказал ей, чтобы она на него всерьез не рассчитывала. Она и не рассчитывала: сама выросла без отца; знала, что это такое; на жестокость не пошла бы, да и свободой своей уже научилась дорожить.

Приехав в Симферополь ранним утром 23 апреля, влюбленные расстались: Житинскому нужно было повидаться с оказавшимся там отцом; Фику на одну ночь приютила родственница ее университетской сотрудницы. Встретились 24-го на автобусной станции в Ялте и отправились в гостиницу (подавая паспорта, Житинский вложил в свой десятку; иначе бы не прописали), со следующего дня пристроились в домике, подысканном у его знакомых не без помощи отца. Днем – чуть-чуть тяготились обществом друг друга; он писал письма детям, импровизировал шуточные стихи: «Моя маленькая, сидя на диване, учит книжку на английском языке, а в горах кочуют басурмане, говоря на непонятном языке» Фика побывала на пляже: пыталась загорать (купаться было еще холодно). Один раз сходили в ресторан, хотя денег было в обрез –

настолько, что в последний день пришлось стащить у хозяйки банку консервов. Назад выехали 29 апреля – и в поезде не знали, о чем говорить. В Москве Фика сошла; ее встречал Гомзяков, с которым она договорилась отмечать Первое мая. Житинский поехал дальше; в праздники нужно было быть с детьми.

Всё это Фика потом рассказала мне – разыграла в лицах, не без вызова, и с рискованными подробностями. Не скрыла и того, что ей, младшей, пришлось преподать старшему некоторые элементы овидиевой науки.

Я – ПАТРИОТ

У меня апрель 1971 года начинался в matrimониальных и литературных хлопотах. Первые описаны; вторые были вот каковы. Девятого числа меня должны были обсуждать у Кушнера. Стихи полагалось отпечатать; моя машинка давала под копирку слепые экземпляры. Вечером 1 апреля я приехал к Тане, дома ее не застал, оставил записку: «Танечка! Здесь 32 стихотворения – как я понимаю, работы на целый день. Мне очень совестно просить тебя об этом, я знаю, как ты занята. Но у меня нет другого выхода... Я твой должник!.. Мне необходимо иметь три экземпляра, хотелось бы – завтра вечером, чтобы я мог отвезти стихи Кушнеру не слишком поздно. Заранее тебе благодарен. Твой Колкер». Как ни в чем не бывало! И она отпечатала. Машинка у нее на работе была хоть куда.

На обсуждении в библиотеке Большевички присутствовала Аля (первый и единственный раз). Неожиданно меня подвергли резкой критике. Регина Серебряная, оппонент, сказала, что я – «человек, ошарашенный литературой». Говорили, что стихи мои вычурны, что «писать нужно потише» и необязательно так много. Кушнер советовал добавить «сдержанности и влаги». Огорчило меня вот что: он поощрительно отозвался не преимущественно о новых моих стихах (как мне казалось, именно сдержанных, выдержанных в духе его эстетики), а скорее о старых, написанных, когда моя *vita nuova* еще не нача-

лась. Моего большого скачка, моего *tour de force* – не заметил. Смелый человек, он решился похвалить стихотворение (1970 года), в сущности своей антисоветское:

Что с Россией случилось? Темно среди белого дня!
Это, верно, усталость лишила рассудка меня,
И, должно быть, я болен – такое привиделось мне!
Пол-Европы не сладило с нею в минувшей войне,
Бонапарт надорвался, а прежде Батый и Кончак...
– Саранча, говорю я тебе, на полях саранча!

Сейчас здесь только одно любопытно: как и многие, я думал тогда, что в ходе второй мировой войны против СССР воевали не одни только немцы, а еще кто-то; не иначе, как румын за солдат держал. Стихи же – неважные, конечно (заметьте рифму *Кончак–саранча*; после 1970-го я такого себе уже не позволял). Кушнер скорее всего похвалил их за патриотизм.

Сам он был и остался патриотом. И каким! «И в следующий раз я жить хочу в России...». Или такое: «Жить в городе другом – как бы не жить»; «Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде». Последняя строка произнесена уже после переименования города. В ней слышится тоска по жадному читателю-соучастнику, почти заговорщику, в советские времена расхватывавшему книги Кушнера за сутки. Прав маркиз де Кюстин:

«Нет поэтов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в условиях широчайшей гласности, ибо когда всякий может говорить, что угодно, поэту остается молчать. Видения, аллегории, иносказания – вот средства выражения поэтической истины. Режим гласности убивает эту истину грубой реальностью, не оставляющей места полету фантазии...»

Прав Кюстин – но не до конца. Поэзия – всегда иносказание, и она преспокойно обходится без политики. А Кушнер – не прав, не по существу своей поэтической реплики о Ленинграде (ему там действительно было хорошо), а по существу своего общественного положения в ту пору: он был не прав по

отношению к нам, тогдашним. Знал бы он, что это такое: не иметь читателя! Вспомнил бы хоть мандельштамовское: «Читателя, советчика, врача!». Или современника своего прочел бы:

Несчастливые люди – поэты,
Которых не слышит никто.
Блокнот, карандаш, сигареты
В дырявом кармане пальто.

Стоит он на Невском проспекте
И смотрит на время свое,
Не зная, в каком же аспекте
Ему трактовать бытие.

На вид ему где-то под тридцать,
И труден решительный шаг...
А время идет, как патриций,
Надменное, с ватой в ушах.

Так писал в те годы Житинский. И еще, он же:

Обращаюсь к читателю,
А читателя нет.
Предан скоросшивателю
Мой словесный портрет.

Неправота Кушнера в том состояла, что он, будучи сытым, спокойно смотрел в глаза голодным и за кошелем в карман не лез. Думал, видно, как Лютер: я сыт по заслугам, а те голодны от нерадивости.

Нет, не было «хорошо в Ленинграде» ни нам, отверженным (несмотря на всё искупающую молодость), ни большинству ленинградцев. Сказать такое – может, со стороны Кушнера, и остроумно было, но в сущности своей – бессовестно. Глубиной и силой таланта Кушнер, пожалуй, превосходил тогда многих, но не настолько, чтобы топтать их, вспоминая об этом страшном времени. Свообразием таланта – уступал многим, тому же Житинскому, куда более терпкому. Произведение искусства,

пусть хоть самое гениальное, живет только в восприятии ценителей искусства. Стихи, не прочитанные вовремя, чаще всего умирают – и никогда не возвращаются в контекст культуры во всей своей первоизданной силе. Ни Боратынский, ни Тютчев, ни Мандельштам не стали тем, чем могли и должны были стать при нормальном своевременном прочтении. Если бы *Евгений Онегин* остался в рукописи и был найден вчера (да еще без имени автора), мы бы не знали, как к этому тексту относиться.

После моего обсуждения разыгралась престранная сцена. Помощницей Регины, вторым библиотекарем, работала на Большевичке Галя Сибирякова (поддразнивая, я ее называл Серебряковой), молодая красивая девушка, фигуристая, но простоватая. Стихов не писала, однако всегда присутствовала на занятиях, где, исключая Кушнера, главным законоговорителем давно уже сделался я. Слушала меня внимательно, это я видел. При ней как-то Скобло, после очередной моей соловьиной трели, сказал с чувством:

– Тебе пора писать! – имея в виду: писать критику. И Галя кивнула.

Я за Галей полущутя ухаживал, ни на минуту не беря ее всерьез, но ухаживал только на Большевичке, где нам случилось и пить всей компанией, и в кино даром ходить в фабричный клуб, тоже скопом. Тут же, 9 апреля, когда я представил Алю как мою будущую жену, Галя вдруг поднялась и ушла за ближайший стеллаж, а вернулась с покрасневшими глазами. Ничего между нами не было; мы даже наедине никогда не оставались. Что ей подумалось? Не иначе как вот что: опять какая-то дурнушка меня оттеснила! Что Галя неудачлива в любви, было на ней написано аршинными буквами.

Шестнадцатого апреля 1971 года я выступал оппонентом в кружке у Семенова, где разбирались стихи Дмитрия Говорухина; против обыкновения, больше хвалил, чем ругал. Хвалил странно:

– Мне нравится, что Говорухин обращается к теме раздумий о родине. Может быть, эта тема не всегда ему дается, но, во всяком случае, глобальные, вечные поэтические мотивы не приносятся в жертву моде.

Смешно, не правда ли? Что же и шло у редакторов, как горячие пирожки, если не «раздумья о родине»? Но я тоже был патриотом, и тоже – слегка истерическим; не хуже Кушнера. С оторопью перечитываю свои стихи 1970 года:

Какое счастье пасть у Фермопил!
Не то чтоб нет достойнее примера
В моем отечестве – иная эра,
И бой еще ожесточенней был...
А всё же счастье – пасть у Фермопил!
Я русский. На декабрьском снегу
Моя нога лыжню себе проложит.
Я перед родиной в таком долгу,
Что кровью рассчитаться не смогу,
Когда меня сочтут и подытожат,
А эти строки долг еще умножат.
Но я и перед древними в долгу.
Нет, я отнюдь не вождь, не воин даже
И, видно, трус порядочный... До слез
Меня доводят пустыки: наркоз,
Дантист, Христос, распятый в Эрмитаже.
Присущи мне, я знаю, столько разных
Неумных слов и дел несообразных.
И между ними, сознаю с тоской,
Смерть – отвратительнейший акт людской –
Любая смерть... И никогда не праздник.
А всё же ... и т. д. и т. п.

Переписывая, морщусь, но делать нечего; я обещал себя не шадить. Все поздно взрослели, не я один.

Помню, что мой патриотизм показался излишним даже Семенову: ему не понравилось, что я называю себя русским, однако ж сказано это по совести; я именно так и считал. Нужны были специальные усилия бездарной власти и пресловутого народа с его «спасибо сердечным», усилия этой самой родины, пусть ей земля будет пухом, чтобы разубедить, разбудить меня. Позже, разглядывая эти посредственные стихи, я не находил никакого

противоречия между тем и этим: очень можно быть евреем – и вместе с тем русским. Русский – имя собирательное. Никакого единообразного этноса за ним не стоит и никогда не стояло. Тогда же – мне грезились что-то другое, смутное.

К слову и так скажем: патриотизм – чувство небескорыстное, небезответное. Родину те сильнее любят, кто больше от нее получает. «На престоле не бывает предателей» – вот один край спектра. Другой: «у пролетария нет родины», что тоже – сущая правда. Ностальгия – барская забава.

Родина, между тем, не дремала. Бдительная была. Через пять лет, в 1976 году, жена не отпускала меня одного на чердак бельевешать; боялась, что и я там повешусь. Писал я в ту пору иначе:

Я проклиная родину мою,
Мне трижды изменившую отчизну,
Любовь и труд, родителей, семью
Друзей и хлеба дешевизну.

Стихи опять так себе, но я пишу воспоминания, и человеческий поворот, со мною случившийся, обойти не могу. Не со мною одним он случился. В том же 1976 году написано и другое, получше:

Мои американские друзья,
Боюсь, не знают твердо, жив ли я.
Развеществовалась наша переписка.
Нарушены воздушные пути.
Гольфстрима вброд письму не перейти.
Прощай, Нью-Йорк! Не сетуй, Сан-Франциско!

В небесную Америку влюблен,
В идею, может статья, в теорему,
Кому пишу, удерживая стон?
Не вам, счастливы. Прямо – дяде Сэму.

Америка! Отверженных мечта,
Надежда пучеглазая свободы,

Читающая Божий суд с листа,
Обнявшая наречья и народы...
Америка! Я – пасынок земли.
Всё у меня украли, что могли,
Божась серпом и молотом воздетым.
Я – висельник, но вынут из петли
Простым кивком, одним твоим приветом.

Мне не видать тебя, не убежать –
Сожрет свинья, развеществит стихия.
Моё дитя швырнут к ногам Батыя.
Мне в этой проклятой земле лежать.
Мой самый прах захочет удержать
Себя и всех предавшая Россия.

Этих стихов – не стыжусь, хоть и не публиковал их. Не публиковал потому, что до 1990-х я всё еще не до конца отождествлял Россию и СССР; еще надеялся, что настоящая Россия может возродиться; нужно только большевизм преодолеть. А потом – эти стихи, жестко привязанные ко времени и ситуации, устарели для меня самого. Да и Америку я никогда по-настоящему не любил; в «штатниках», как Довлатов или Бродский, ни на минуту не состоял.

Я – ПОВЕСА

К концу апреля с Алей всё было кончено. Свадьба не состоялась, мы расстались, хоть и не врагами; договорились встречаться. Всё возвращалось на места. Я отправился с повинной к Тане. Встречен был прохладно, если не холодно – главным образом потому, что сказать, в сущности, мне было нечего, кроме: «Я не женюсь». Сделай я предложение, его бы приняли, но воодушевление, с которым я к ней ехал, при встрече схлынуло. Я тотчас угодил на прежние рельсы.

То же разочарование я пережил, встретившись с Фикой. Выходило по Боратынскому: «Душа родная, нос – чужой...». Она вернулась из Москвы в понедельник, 3 мая. Я знал, что она была в Крыму, у Валеры (что не у Валеры, выяснилось поз-

же), этой связью был задет, но понимал, что, во-первых, моя вина перевешивает, а во-вторых, что мое место в ее жизни не вовсе утрачено. Повинившись, упрекнул ее за то, что уехала, не предупредив, – и только. На это она сказала:

– А что же ты думал, я останусь в городе и к тебе на свадьбу приду?

Это «а что же ты думал», интонация, свобода, с какой слова прозвучали, – долго не отпускали меня. Вероятно, Фика всё еще была влюблена в Житинского, хотя пик для них миновал. Что она и от меня не вполне отвернулась, тоже было ясно. Восемь лет совместности что-нибудь да значили.

Третье и четвертое мая (понедельник и вторник) были выходные. Путешественники встретились на стрелке Васильевского острова только в среду, 5 мая, в обеденный перерыв, оба – с расхолаживающими новостями друг для друга: Фика – с известием, что я не женюсь (что означало: для нее я не вовсе потерял, а попутно и то, что Житинский не вовсе свободен от вины перед другом); Житинский – с рассказом о том, как трогательно встретила его жена (что означало: Марина не перестала быть ему близким человеком). Каждый, нужно полагать, думал, что его новость будет единственной или главной, заденет другого, но обе новости указывали в одном направлении. Из стихов Житинского, сочиненных в тот же день, это можно услышать:

...А в Ялте отцветает вишня.
Как говорится, время вышло,
Любовь не стоит слёз.
Любовь не стоит их, но почему же
Дохнуло ветерком последней майской стужи?
Я не сказал, что будет хуже,
И ты не дождалась ответа на вопрос.

Как всегда у Житинского, эти стихи документальны. Фикин вопрос из них выводится. Был он, собственно, замаскированным утверждением. Комментируя взаимное охлаждение, она сказала:

– Всё равно ведь так хорошо больше не будет, правда?

Фика на эту встречу стихами не откликнулась. Отступая в прошлое, приключение (при тогдашней пресной и бессобытийной советской рутине – из ряда вон выходящее) вскоре должно было начать обоим казаться событием всей их жизни. Сохранились строки:

Забываю тебя, забываю,
Сладким ядом тебя запиваю,
Горьким дымом скрываю тебя,
Не любя, не любя, не любя.

На очередном занятии в Выборгском ДК Семенова замещала поэтесса Нонна Слепакова, впоследствии основательно забытая, а в ту пору несколько выделявшаяся на общем пустоватом фоне ленинградской поэзии. Среди прочих новых стихов я прочел шуточную автоэпигramму:

Ходят в городе толки вторую неделю.
Говорят, будто Колкер убит на дуэли.
А другие – что выслан, грозил застрелиться.
Называются числа, приводятся лица.
Есть и вовсе нелепые в городе толки:
Говорят, будто Колкера слопали волки.

Житинский реагировал на нее словами: «Ну, Колкер, погоди!». Игра слов от меня ускользнула, ее мне потом объяснили. Я детских мультфильмов не смотрел, про знаменитую серию «Ну, заяц, погоди!» не слышал. А у Житинского были дети. Его преувеличенная реакция была откликом на слово *дуэль*.

В перерыве большинство отправилось курить на лестницу. Я, естественно, остался за столом. Когда возвращались, Житинский полуобнимал Фику за талию. После окончания занятия кружковцы опять толпились на лестнице; не могли наговориться. Нонна Менделевна всем нравилась – живостью, умом, простотой. Занятно, что многие называли ее Нонной *Менделеев*ной. Имя Менделей уха не резало, казалось человеческим, не то что Мендель. От него веяло «продажной девкой империализма».

Спускаясь по лестнице к выходу мимо этой компании, я впервые увидел Фику с сигаретой. При мне она не курила, хоть и не скрывала, что прикладывается. Прежде я от упоминания об этом впадал в бешенство, тут – даже раздражения не почувствовал. Она – пройденный этап. Какое мне дело? Домой, скорее домой – к машинке. У меня уже теплись какие-то строчки. Жить свободно, жить беспечно, в вихре ямба мчаться вечно и не знать тоски сердечной – вот что мне судьбой дано.

Я опять был свободен, опять был повесой. Вспомнил, среди прочих подруг, и Веронику, с которой приятельствовал с 1966 года. После очередного занятия у Вечтомовой на Обводном канале отправился провожать ее домой. За нами увязался Романов, хотя «ему было в другую сторону», на Расстанную. Шли по Лиговке, по Невскому, по Фонтанке. На набережной Романову (его мы называли Дрюней) потребовалось зайти в подворотню по малой надобности; он был любителем пива. Едва он скрылся, мы с Вероникой, не сговариваясь и хохоча, пустились бежать в сторону Миллионной. Бежали наперегонки до Эрмитажа. Она забралась к атлантам и прыгнула с цоколя, я поймал ее на руки, благо стройна была и легка, как пушинка. Потом долго гуляли вдоль Невы. Она читала на память «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...». На следующем занятии Дрюня нас поддразнивал: а-а-а-а, сбежали, целовались, небось! Но мы покамест были чисты и дурного на уме не имели.

В четверг 29 апреля Вероника устроила у себя вечеринку: отмечала день ангела. Жила она у самого истока Фонтанки, напротив Прачечного моста, в коммуналке, с матерью и соседкой. Обе отсутствовали. Приглашены на вечеринку были *старые большевики*, те, кто ходил к Кушнеру на Большевичку; пришли – только Романов, Регина Серебряная, две их приятельницы, работавшие в клубе фабрики: Наташа Кондратьева и Света Пашкова, да я. После изрядной выпивки, чтения стихов (Романов при всякой возможности читал запоем, преимущественно себя; Вероника и я – Мандельштама и Пастернака) и всяческих дурачеств как-то само собою вышло, что мы с Вероникой уединились до утра в ее комнате, притом что все прочие, не исключая Романова, ночевали в другой, и – в одной постели.

Как они там поместились? Света по толщине соперничала с Региной.

Утром мы с Романовым ушли вместе, не совсем протрезвев. В трамвае на нас начали поглядывать с ухмылкой, а то и просто смеяться. Оказалось, что пока мы спали, находчивые Наташа и Света нарисовали ему помадой звезду на лбу, а мне пришили к штанам хвостиком кисточку от пудры *Красный мак*. Смеялись над нами, видно, долго; заметили мы подвох не сразу, и я разгневался. Отоспавшись дома, к вечеру явился выяснять отношения к Веронике. Тут гнев почему-то прошел, мы посмеялись вволю, а потом нам стало не до смеху, поскольку она была в квартире одна. Ушел я на следующий день.

Вторым мая помечены у меня стихи:

Ты живешь в Петербурге, где воды слышны,
Где воздушные своды ясны.
В них прозрачные сумерки вносит весна,
Точно снадобья просит от сна.
Ты живешь на Фонтанке, над черной водой,
Под высокой покорной звездой.
Здесь закат неразлучен с рассветом – июнь
Сопричастен поэтам и юн.
Там, где черная катится с плеском вода,
Где и прочих чудес хоть куда,
Отошедшего века не взятым постом –
Летний сад за горбатым мостом.
Не проникли в твой сумрак ни тленье, ни вздох
И ни кровосмешенье эпох.
Мы подслушаем звуки мазурки вдвоем
В эту ночь в Петербурге твоём.

Вероника – написала два десятка стихотворений, так или иначе связанных со мною, а десятилетия спустя издала книгу стихов под названием *Юрский период*.

Легкомысленные попойки происходили и в других местах. Четырнадцатого мая 1971 года отмечалось десятилетие литературного объединения *Радуга*. Вечтомова провела

его с помпой. Были свадебные генералы из союза писателей: поэтесса Надежда Полякова, прозаик Леваневский, директор пушкинского заповедника Семен Гейченко. Выпивки и закуски было навалом. Мы с Дрюней принесли ведро кваса. Поэты, перебивая друг друга, ринулись читать свои стихи. Я прочел специально написанное по случаю (под Мандельштама):

– Путник, откуда идешь? – Я был на Обводном канале
В Радуге многоизвестной. Пииты гурьбой собрались там.
Странные вещи творят: ляды без устали точат,
Яства с высоких столов разом спешат поглотить.
Буйствуют! Веришь ли, пьют, водой вино не разбавив.
Пляшут вакханки меж них, громко кричат: Эвоз!
Песни во славу богов я между ними не слышал!
Нет ни сосновых венков, ни сладкозвучных кифар...
– Горькие слышу слова! Когда так мерзок Обводный,
Чую: на Воинова, дом восемнадцать, – вертеп!

Всё так и было. Напившись, резвились. Л. Д., самая молодая и разбитная, «с белыми от распутства глазами», как сказал бы Бабель, пыталась танцевать на столе – и, кажется, успела в этом. Романов предлагал мне вот прямо сейчас поймать ее и увезти. Но с нею не получилось. Когда читать принялся некто Зазулин, Романов стащил со стола неоткрытую бутылку вина, и мы, перемигнувшись, сбежали: Регина Серебряная, Вероника, он и я. Поймали такси, поехали ко мне на Гражданку. На кухне распили прихваченное (как мало нам нужно было в ту пору!), досыта начитались стихов, а потом разошлись по комнатам: Романов с Региной – в мою, я с Вероникой – в родительскую, причем я немедленно поставил на проигрыватель *Болеро* Равеля. Утром мы застали тех за ученой беседой о проблемах стихосложения. Регина встретила меня словами: «Ну, Колкер, молодец!»

Вероника любила шальные выходки. В июне, в ночь с 19-го на 20-е (с субботы на воскресенье), она со своим приятелем Сашей дежурила в очереди за билетами (приезжал «театр на Поганке»; то самое, что я ненавижу), и оба попеременно, с

равными промежутками, ходили звонить мне – чтобы не дать поспать. Едва я отвечал, они вешали трубку. Попутно Вероника убедилась, что я дома один, и когда ей с Сашей пришла в очереди смена, отправилась ко мне, так что спать мне в тот день совсем не пришлось.

Наша связь продолжалась эпизодически около года. Неравенство было вопиющее, меня угнетавшее и мучившее (при том, что ничего я с собою не мог поделывать): встречались чаще тогда, когда это было нужно мне. Когда не нужно – я мог обойтись с нею холодно, и всё сходило с рук; я не услышал от Ники ни одного упрека.

Она потом удачно вышла замуж («он полюбил меня, как Ромео Джульетту, ты можешь себе представить?»), а в начале XXI века уверяла меня, что со мною была счастлива и никогда ни о чем не жалела.

У ПЕТРОПАВЛОВКИ

«Сдержанность и влага» – так понимал стихи Кушнер. Сдержанности Житинскому всегда хватало, влага – с особенной силой начала чувствоваться у него весной 1971 года. До этого его стихи были, что называется, философичны. Помню *Балладу о Роберте Скотте*; стихи о самолете ЛИ-2, о военных музыкантах – темы для меня всё странные; никогда бы не стал я такого читать у других. С апреля появились у него стихи о любви.

Легко, мой друг! Наш город невесом.
Он, словно парус, плавает в тумане.
Всё держится на бликах и обмане,
И ты идешь с таинственным лицом.

Последняя строчка в первом варианте читалась иначе: «Любимая, прости мне этот сон».

Поначалу он все свои новые стихи придерживал. Дома вообще не должны были знать (Марина и сочинительства-то его не одобряла), в кружке Семенова он тоже осторожничал. Сти-

хотворение *У Петропавловки*, написанное 1 апреля 1971 года, на четвертый день знакомства с Фикой, прочел только 28 мая. Оно меня потрясло.

У Петропавловки, где важно ходит птица,
Поваленное дерево лежит.
Вода у берега легонько шевелится,
И отраженный город шевелится,
Сто раз на дню меняя лица,
Пока прозрачный свет от облаков бежит,
Горячим солнцем заливают шпиди
И долго в них, расплавленный, дрожит.

Скажи, мы здесь уже когда-то были?
По льдистым берегам бродили
И слушали вороний гам?
Наверно, это вечность нас задела
Своим крылом. Чего она хотела?
И эта льдинка, что к твоим ногам,
Задумчивая, подплыла и ткнулась –
Она не берега, она души коснулась,
Чтоб навсегда растаять там.

Живи, апрельский день, не умирая!
Еще и не весна – скорей, намек
На теплый солнечный денек,
Когда, пригревшись, рядом на пенек
Присядем мы, о прошлом вспоминая
И наблюдая птицу на лету,
Когда увидим в середине мая
Поваленное дерево в цвету.

Всё здесь казалось мне чудом, а больше всего – эта льдинка, которая подплыла и ткнулась, и этот воображаемый переход из апреля в май, развернутая метафора перехода в другое душевное состояние. Легкость, простота, естественность этой декалькомани, намеренно приглушенные краски (лежит–бежит–дрожит; пенек-денек, – так рифмовать было аскезой, а вместе с тем – и

дерзостью), спрятанное в пейзаже любовное переживание, не обжигающее, а прохладное и грустное, но насыщенное ожиданием, как сам этот пейзаж, как этот город, этот свет, положенный одним мазком, – всё меня пленяло и завораживало. В этом духе я и распинался на занятии у Семенова, слов не жалел, назвал стихотворение шедевром, не сказал только о том, что как гвоздь засело в моем сознании: никогда мне такого не написать! Это было ясно как день – и мучительно горько.

Выходил я после этого занятия словно в наркотическом сне. Вышел не один, а с Фикой, всё еще рассуждая об этой необычайной художественной удаче Житинского. Когда мы сворачивали с улицы комиссара Смирнова на Лесной проспект, Фика сказала, что эти стихи посвящены ей. Я остановился как вкопанный. Мало мне было сознания моего ничтожества перед этим шедевром! Выходило еще и личное осложнение, личное переживание. Две вещи не укладывались в сознании: что Фика с ее неэлегической внешностью может вызывать чувства столь акварельные и что Житинский может влюбиться. Она мою оторопь поняла как сцену ревности – и утешила меня:

– Завтра я к тебе приду, и всё будет хорошо.

Эта фраза, показавшаяся пошлостью, вызвала у меня приступ бессильного бешенства. Смысл происшедшего Фике не давался. Она думала, что я ревную ее к Житинскому, но лирический треугольник был сложнее: в первую очередь я ревновал Житинского к ней. Тут даже и не треугольник был: я ревновал музу к Житинскому, а Житинского – к Фике. Житинского любил – не подумайте дурного и модного: *только* как поэта и друга – больше, чем Фику, уж это точно; в тот вечер, после этих стихов – больше всех на свете. Только одну аониду любил еще сильнее. Гречанку ревновал к Житинскому со всею силой и мукой обманутого любовника: как она, крылатая, могла предпочесть мне этого увальня, этого гения? Почему ему достались эти дивные звуки, эти живые краски?

Фика еще некоторое время любила двоих: меня и Житинского. На следующий день, в субботу, пришла ко мне, как обещала; другое обещание тоже выполнила: всё было хорошо. Но не надолго. Восемнадцатого июля она писала в Лугу:

«Дорогие Томочка и Валентина Адамовна! Не обижайтесь на меня, ради бога, я очень плохо себя чувствовала, поэтому не смогла приехать. Вот только сегодня, наконец, чувствую себя человеком, но и то, на всякий случай, сижу дома. Тома, ты, может быть, догадываешься, что со мной, я ведь тебе говорила, но я, конечно, не ожидала, что может быть так плохо. Томка, я осталась совсем одна – Юра тоже уехал в пятницу, а Саша не пишет почему-то. Юра меня очень расстроил перед отъездом – ну и бог с ним...»

Саша тут – Житинский. Он был послан в колхоз, на сельскохозяйственные работы; оттуда и не писал. А я – в пятницу 16 июля – уехал на юг.

НА ЮГ

Аспирантство началось для меня с того, что я засыпал над учебными книгами в Публичке и Библиотеке академии наук. Едва пересиливал сон. Нужно было сформулировать *тему* – чтобы забыть о ней. Бросить кусок своре. Сперва, угождая направлению института, я возился с какими-то градиентами почвенных вод, но быстро это бросил. Компьютерные расчеты меня не привлекали, я едва знал алгол, программирование презирал, хотел стройной математической теории, красивых уравнений. Решил играть ва-банк: попросил Полуэктова быть, или хоть числиться, моим руководителем. Это позволяло рассуждать о биомассе, то есть якобы об урожае, в терминах систем обыкновенных дифференциальных уравнений (в матричной форме; я любил теорию матриц, не расставался со знаменитой монографией Ф. Р. Гантмахера). Руководство Полуэктова свелось в итоге к тому, что он указал мне на так называемый принцип Либиха (принцип лимитирующих факторов, или принцип бутылочного горлышка; для получения единицы А требуется в час пять единиц В и десять единиц С; двадцать единиц С в час не увеличат скорости образования А) и на работы новосибирских математиков (Игоря Полетаева, Киры Кудриной), прилагавших этот принцип к биологии. Мою диссертацию, которую я в итоге каким-то чудом всё-таки написал в последний год аспирантуры, Полуэктов прочел уже переплетенной.

В СевНИИГиМе всё мое очковтирательство проглотили. Какие-то бумаги с формулами (и словами *обратная связь, передаточная функция*) были кому-то сунуты. Через месяц с небольшим я отвязался от все^этой мурсы, чтобы вернуться к главному. Тут наступило лето. Нужно было подумать *об отдыхе* – как если бы я очень перетрутился.

Мое приятельство с Женей Левиным (Жидовищем) сводилось уже почти только к тому, что мы играли в футбол и в волейбол в Сосновке. Женя отправлялся на юг – и не как порядочные люди делают, а на товарных поездах. Билетов в сезон было не достать, беден Женя был так, как никто из моих знакомых, но тут не только в этом было дело, а еще и в самом приключении. Женя любил походы – с палатками, с трудностями. В 1969 году мы уже так ездили: он, Валера Лобан и я; добрались тогда от Ленинграда до Южного лагеря Политехнического института под Туапсе, где и провели дней двадцать. На этот раз собралась большая компания с дамами: Женя, Валера Лобан с подружкой Ниной Кольцовой, Валера Филиппов с женой Ирой. Позвали и меня. Поколебавшись, я согласился. Колебался потому, что оба Валеры мне не нравились, особенно – Лобан. Женю я к ним даже ревновал. Были Валеры похожи и непохожи. Не нравились – полным отсутствием эстетического запроса и ослабленным чувством юмора; казались пошлыми, скучными. Женя в последние годы студенчества и в АФИ начал под моим влиянием читать литературу. Прочел Хлебникова (очень полюбил его перевертыши типа «Эй, житель, лети же!» и «Мы, низари, летели Разиным»), увлекся статьями только что скончавшегося в эмиграции Аркадия Белинкова, ходившими в АФИ в списках; через эти статьи добрался до Олеси, заглянул в Пастернака и Мандельштама. Валеры – оставались полной целиной; ничего такого не читали. О судьбах общества, в котором живут, не задумывались.

Жизнь у них сложилась очень по-разному. Филиппов учился в одной группе со мной и с Женей, был хорошим середнячком, после окончания первым защитил кандидатскую, первым облысел, а с началом перестройки – свихнулся, повредился в уме под влиянием постигших страну катастроф. Кажется,

эмиграция Жени тоже внесла в это свой вклад. Отщепенец оказался прав. Женя в России жил (с матерью Софьей Исааковной) с хлеба на квас, в жуткой коммуналке, учился неблестяще, – и вдруг стал программистом и преуспевающим домовладельцем в США. Наоборот, большевики, сулившие светлое будущее, оказались мошенниками, обманули Филиппова. В 1990-м, когда Женя приезжал в Питер, Филиппов не поехал к нему, сославшись на то, что трамвайный билет ему не по карману.

Лобан учился в Политехническом на вечернем и там же работал лаборантом. Звезд с неба, казалось мне, не хватало, но в 1990-е вдруг сделался профессором в том же институте. Как? Может, действительно талант ученого обнаружил. Или талант организатора? Был он напорист. Хотел и умел предводительствовать; в нашей компании главенствовал (в то время как я только повиновался); был, что называется, ядреный вождь. Лучшие из тех, кого помню по студенческой поре, молодые люди во всех отношениях блестящие, ученой карьеры – по контрасту с ним – не сделали. Профессорство, однако ж, пришло к Лобану в те годы, когда перестало быть почетным и денежным. Женя по дружбе выписывал профессора к себе в штат Нью-Йорк – как строительного рабочего: помогать перестраивать один из его домов за чисто символическое вознаграждение. Домов у Жени в 1990-е было уже три; два он сдавал, а третий, огромный, в котором жил, беспрерывно улучшал – своими силами и силами профессора. Физически профессор был крепок, ростом высок.

Сколько помню, и Филиппов, и Лобан – оба были Валерии Ивановичи. Русский язык беден именами. Словарь дает 450 мужских имен (среди них такие как Евлампий или Иакинф, давно вымершие) и 250 женских (включая Цецилию и Аполлинару). В ходу в ту пору было, самое большее, по 50 затертых мужских и женских имен, а на слуху, в нашей среде, – и того меньше: по 20. Почему в год окончания войны двум Иванам захотелось дать своим сыновьям римское имя (римскую фамилию) Валерий? На эту тему я раздумывал при начале нашего похода. В словарь заглянул позже. Заглянув, изумился тому, как мало имен собственно русских или

хоть славянских: шесть, много семь, да и те под вопросом. Вадим? Есть указания, что оно персидское. Всеволод? Как бы не так: *-волод* уж слишком напоминает *-вальд*, *wald*. Полоцкий варяг Рогволод, тесть Владимира, был, разумеется, Рогвальдом. Святополк? Но полк – от *folke*, тут даже не спорят. Ярослав – в исландских сагах Ярицлейф (а *яр*, то есть *весну*, в наши дни додумались производить от *ярости*). Святослав, «Александр нашей древней истории» и «первый князь славянского имени» по Карамзину, в византийских хрониках, у Константина Багрянородного, – Свендислейф. Глеб – впервые встречается по-русски как Улеб: явная русификация имени Олаф. Владимир – имя готское; в русских летописях пишется как Владимир; был готский король с таким именем, его Макиавелли упоминает. Первый в истории Борис – болгарский царь в IX–X веках (не случайно и святой Борис, сын крестителя Руси, родился от болгарки). Говорят: это сокращение от Борислава, а мне чудится другое: от греческого названия Днепра, от *Борисфена*. По пути на Дунай болгары сидели на Днестре не год и не два, он не мог не остаться в их исторической памяти.

Женских русских имен едва ли не пять, и все переводные, включая два придуманных (Светлана и Людмила). Не густо. А в английском?! Любое слово может стать именем. Взять хоть знаменитое *ка-с-точкой* в имени Джером К. Джером: это ведь Джером-Клапка Джером. Что за Клапка такая? А это была фамилия поборника венгерской независимости. В Англии с ее всемирной отзывчивостью – именем стала, один раз, да стала. А гениальный инженер Брюнел? Его звали Изамбард-Кингдом; *kingdom* по-английски – *королевство*. Фамилия матери, говорите? Но у него-то это имя собственное, пусть и второе... Свобода в выборе имен – не связана ли она как-то с внутренней народной свободой?

Подготовка к походу на этот раз свелась у нас к экипировке, а в 1969-м мы тренировались: выезжали куда-то под Ленинград, проверяли, хорошо ли взаимодействуем в трудных условиях. Палатки взяли напрокат. Рюкзак особого типа, не из самых простых, а со множеством карманов, у каждого был свой. Запаслись топориками и флягами, шерстяными носками и

большими кусками плотного полиэтилена – от дождя (палатку в вагоне не поставишь). Специально изготовленные металлические кольца для растягивания палаток остались у нас с прошлого похода.

Выехали 16 июля 1971 года, – хм, в 18:10. Я вел дневник, происходившее записывал по часам и минутам. Этот гейзер педантизма в 1971 году прекрасно показывает, в каком перевозбужденном (хоть и сдержанном, загнанном под ногти) состоянии я пребывал, как был назлектризован. Чем? Стихами. Постоянным присутствием аониды.

Ехали через Белоруссию и Украину, вниз по карте вдоль тридцатого меридиана, через Витебск, Оршу, Могилев, Гомель, Киев. Ехали со множеством пересадок, черепашьим ходом. Ехали в открытых вагонах, на ящиках, бревнах, досках, руде, стальных прутьях, на чем попало, мокли под дождем, по ночам мерзли, недосыпали.

Мы едем в товарном вагоне,
Сидим в непролазной грязи,
А время – улитка на склоне,
Улитка на склоне Фудзи.

Изредка нас отлавливали и штрафовали – по рублю, по два рубля с носа. Штрафы явно шли не в казну; можно было торговаться. Паспорта с пропиской гарантировали нас от более серьезных неприятностей. Иногда нас намеренно не замечали – от лени или из осторожности. В Орше, увидав нас в вагоне, один железнодорожник вяло спросил другого:

– Тебе зайцев не надо?

В Гомеле, 19 июля, Филипповы не выдержали: отделились и пересели на пассажирский поезд. Остальные добирались до Киева парами; мы с Женей – по шоссе, на попутках, Лобан и Нина – сначала в товарных вагонах, а потом тоже на попутках.

Оказавшись в обществе одного Жени, я вздохнул с облегчением. Ему я безоговорочно уступил лидерство и подчинялся более или менее охотно. Главное, больше не было тирании

ядренного вождя Лобана, мучительных споров с русским вопросом: что делать? В спорах я не участвовал, а всё равно страдал.

Этого своего качества – в коллективе всегда всем уступать – я еще в ту пору не сознавал. Чувствовал только дискомфорт, в любых собраниях ежился, мечтал об уединении. Годы спустя понял: что-то делать могу и хочу только один, иначе дело перестает быть моим. После женитьбы повторял придуманную на этот случай красивую фразу: добровольно принадлежу только двум коллективам, семье и человечеству; все промежуточные (включая родину) мне навязаны. Еще позже – научился выделять и с любопытством разглядывать людей, пожираемых властолюбием или испытывающих потребность повелевать. Был изумлен, когда обнаружил среди них тех, кого любил в юности: Кушнера, Житинского. Эта страсть так и осталась для меня тайной за семью печатями.

В Киеве мы оставили на главпочтамте открытку Лобану и Нине, а сами взяли билеты без места на пароход. Плыть собирались вниз по Днепру до Канева, пункта условленной встречи, где уже должны были быть Филипповы. Билет до Канева стоил 2 рубля 28 копеек. Мы сэкономили: взяли до ближайшей станции, по рублю 16 копеек на нос.

Перед отправкой искали столовую, но почему-то так и не нашли. В поисках прошли от начала до конца улицу Ленина. На ней были только парикмахерские.

– Может, на такой улице и вообще не должно быть столовой? – вздохнул Женя.

В 20:20 сели на теплоход *Леонтович* (в честь украинского композитора, как я потом выяснил). Переоделись «в чистое»: в спортивные костюмы; мой, однако ж, оказался испачкан гомельским мазутом. Шел проливной дождь. Я устроился на верхней полке, расстелив палатку и сунув под голову валик спального мешка. Напротив, на одной (!) полке, устроились три девушки-украинки.

В Канев прибыли 20 июля, в 6:25; благополучно сошли на берег с нашими половинными билетами. Добрались до турбазы. Повсюду продавались абрикосы по 25 копеек за пол-литровую банку; это казалось дорогим. Палатку поставили на пля-

же. Филипповых искали на дамбе, где они должны были удить рыбу, и не нашли, но вскоре они сами нас отыскали. Малодушные люди, они сняли себе жилье, пятиметровую кухню в украинской мазанке, за 25 рублей! Дальше ехать не хотели.

В тот же день прибыли Лобан с Ниной, поставили свою палатку рядом с нашей. Палаточный городок мы назвали Екуй-градом – в честь Филиппова, ренегата, живущего в тепле, но от компании не отколовшегося (Женя, обожавший прозвища, почему-то звал его Екуем). Название выложили галькой перед палатками. По вечерам разводили костер, варили в кастрюлях суп из пакетиков и чай. Ухи не было. Филипповым так и не удалось поймать судака. Пили местную водку. Пытались веселиться, но было невесело. Я – так просто проклинал всё на свете. Но муза наведывалась.

По Днепру снуют лодчонки и баркасы.
Загорелые девчонки у турбазы.
И молоденький художник, их не старше,
Пишет маслом две порожних старых баржи.

Там, за дамбою, наносы с рыбаками.
Говорят, богаты плесы судаками.
Лодки в крошечном заливе равнодушны,
Точно лошади на привязи в конюшне.

Вот пустующая пристань. Над мостками
Замечтались два туриста с рюкзаками.
Детвора смежает очи, отгорланив...
До утра, спокойной ночи, город Канев!

Чем не стишки? Честное стихотворное упражнение, годное в печать. Стыдно не очень. Или вот еще:

Облака к непогоде.
С пол часа моросит.
По реке пароходик
Не спеша колесит.

С торжеством василиска
За обильной едой
Чайка носится низко
Над свинцовой водой.

Вот и кончился дождик.
Мы на пляже вдвоем:
Бородатый художник
Примостился на нем –

Этот миг, этот берег,
Эту водную гладь
В одинаковой мере
Мы должны угадать.

Вот тетрадь, мой этюдник.
Как и он, напишу
Цепь откосов безлюдных,
Вод отшельничий шум,

Неба светлую нишу,
Дальней отмели нить –
Всё, что вижу и слышу
И могу объяснить.

(Последняя строфа выражает мою новую эстетическую программу, крутой поворот от туманной юности к суховатому реализму. Пароходик – действительно был колесный.)

Спать в палатке оказалось сущим мученьем. Спали на жестком, прямо на песке. По ночам случались проливные дожди, ураганные ветры. Растянутые над палаткой куски полиэтилена хлопали, как выстрелы, не давая уснуть.

Ранним утром 23 июля, едва продрав глаза, увидели мы с Женей у берега, как раз перед нашей палаткой, цаплю, причем я поначалу принял ее за козу. Было ясно, что это знак: нужно собираться в путь. В 22:07 мы четверо оказались на борту теплохода *Алексей Толстой* с билетами до Черкас. Филипповы остались в Каневе.

От Черкасс ехали опять на товарных поездах. 24-го, в субботу, долго сидели на вокзале станции им. Т. Шевченки, где меня тошнило (объелся немывтыми персиками). Женя умилялся названиям населенных пунктов: Блява, Ай, Баба-Дурмас, Баб-Губа, Верблюд, Веселый Подол, Вперед, Выходной. На другой день, проехав с пересадками Помошную, Сербку и Куяльник, увидели, наконец, город больших ожиданий, Одессу. Приехали на юг.

Я в Одессе не бывал. Здесь родился и вырос мой отец, но родни не осталось, повода ехать не было, а тянуло: чувствовалось, что это самый своеобразный город страны, окно в Европу, в Средиземноморье.

Сразу было ясно: город смотрит в море, нацелен на море, морем живет. Логический фокус Одессы – порт; всё к нему стягивалось. Был этот порт живой, веселый. Целый лес разноцветных кранов. Сновали катера и этакие комоды на подводных крыльях с названиями «комета», «вихрь». Здесь же была и знаменитая лестница в 117 ступеней – из *Броненосца Потемкина*.

Ночевать мы почему-то отправились в Аркадию, на катер сели в 21:10, добирались больше часа (минут двадцать ушло на причаливание и стоянку в Лонжероне). Одни названия чего стоили! Это тебе не Баб-Губа. Палатки ставили в полной темноте, на горе, у забора какого-то санатория.

В понедельник, 26 июля, после десяти дней пути, наконец-то добрались до моря. Погода стояла чудесная. На небе – ни облачка. Блаженный юг! Перед самой линией прибоя важно прогуливался человек с горбатым носом и невероятной величины животом, нависавшим над плавками, явно профессор (рядом семенил аспирант или подчиненный). Глядя на этот живот, я говорил себе мысленно: «Сколько наслаждений!» и ежился от мысли, что сам доживу до подобного безобразия.

Наши рюкзаки на пляже не остались без внимания: к нам подсели двое ребят из Литвы, добравшиеся сюда автостопом. С одним из них, Володей, я разговорился. Оказавшись в Литве по распределению, он, русский, решил выучить литовский язык – и сразу увидел, как изменилось к нему отно-

шение. Литовцы – гордый народ, услышал я от него. Еще бы! Помнят, что исторически были силой, равновеликой Московии, могли и вовсе покончить с нею при Витовтах и Гедиминах, особенно же – не опоздай они на Куликово поле. Тогда – никакой России! Литва наследует Орде; литовская Сибирь, литовская Аляска. Великая держава, первая в Европе и в мире. Ни Петра Великого, ни Петербурга. Никакого большевизма. Переиначивая Герцена, я говорил себе: на вызов, брошенный России Петром, она ответила большевизмом. Всего этого, впрочем, я Володе не сказал. Он был советским патриотом. Литва ему нравилась тем, что раздвигала профессиональные горизонты. Не было в ней тесноты, не было не то что ленинградского, а даже московского (более слабого) перенасыщения людьми образованными и честолюбивыми. Становление протекало там легче. Володя оказался мне очень умным человеком, был же, в первую очередь, напорист; знал, чего хочет. Говорили о движении народов. Я больше слушал, многому изумлялся. От него впервые услышал, что осетины – потомки скифов. Литовский язык он возводил к славянским корням, а я думал, что этот язык – из самых древних в Европе и чуть ли не с санскритом в родстве; но спорить не стал. Спорил, когда речь зашла об искусстве.

– В Литве, – сказал Володя, – все теперь мажут под Чюрлениса. Но было одно самобытное дарование, хоть и в том же русле: Шиманис. Он умер в 1956 году.

Володя сравнил Чюрлениса с Андреем Вознесенским, и тут уж я встал на дыбы.

– Вознесенскому так еще не льстили! – сказал я, – хоть Катаев и называет его великим русским поэтом. Чюрленис обращен к вечному, он высок; Вознесенский (несмотря на свою фамилию) – приземлен, низок. Первый – воплощение полета человеческого духа, второй – идеолог плебса, третьего сословия; верой и правдой служит его низким вкусам. Придворный поэт!

Мои попутчики сперва слушали, но потом заскучали, как и попутчик Володи. Про Чюрлениса не слыхивали. Я же впервые увидел репродукции его работ у Фики, в 1966 году.

– Художественную литературу, – сказал, между прочим, Володя, – я не читаю. – Он имел в виду прозу, и тут мы сошлись; я тоже прозу читать не мог. Зачем проза, когда есть стихи?

На другой день, 27 июля, в Одессе, мы взяли на четверых три (!) палубных билета до Евпатории на пароход *Адмирал Нахимов*. Почему три? С таким же успехом могли взять два, даже один – и пройти вчетвером: один поднимался по трапу, затем с палубы пересылал билет вниз с кем-нибудь из спускавшихся; затем процедура повторялась. Палубников проверяли не очень тщательно.

Пароход отвалил от причала в 18:10 – и пошел в открытое море, причем – на запад от Одессы (что город смотрит на юго-восток, мне в голову не приходило). Я тотчас принялся за свое:

Не выискивай замыслов трудных,
Понапрасну усилий не трать.
Вот тетрадь, твой походный этюдник,
Для одних зарисовок тетрадь.

Напиши, не солгав ни на йоту,
След, оставленный в море винтом,
Отступающий пляж, позолоту
В остывающем небе пустом.

Там, сорвавшись с рекламной картинки,
Наравне с пароходной трубой
Чайки, словно в стакане чайинки,
Оседая, плывут над тобой.

Это стихотворение, в числе прочих, отвергла потом в *Авроре* Лидия Гладкая. По поводу строки «Не выискивай замыслов трудных» она сказала:

– Установка – не нравится.

Я знал, с кем говорю, и возражать не стал. К отказу был готов, мысленно усмехнулся. Будь мой собеседник умнее и добросовестнее, я возразил бы ему так: «Не стоит брать на веру скрипичный ключ литературного сочинения, лучше внимательно прочесть это сочинение. Если на обложке читаешь *По-*

вести Белкина, критикуйте текст так, как если бы автором его был Пушкин. Стихотворение, которое вы отвергаете, не бог весть что, но оно лучше большинства публикуемых *Авророй* стихов...». Будь мой собеседник мне другом, я добавил бы еще и такое: «Это как раз и есть самый трудный замысел для меня: не выискивать замыслов трудных. Я хочу спрятать свою сложность, навсегда или до лучших дней, сдержать мое творческое высокомерие, и вообще-то не всегда полезное, а в нашей дикой эстетической глуши, в советской сточной канаве, – просто неприличное...»

Адмирала Нахимова больше нет. Сейчас, когда пишу, этот плавучий ресторан покоится на морском дне недалеко от Новороссийска, при выходе из Цемесской бухты, в 48 метрах под поверхностью моря. Затонул в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года, протараненный сухогрузом *Петр Васев* с ячменем из Канады. Из 1200 человек на борту погибло более четырехсот. Сухогруз переименовали в *Подольск*. *Адмирал Нахимов* тоже носил не свое первое имя: он был трофейный, у немцев назывался *Великая Германия*.

Черное море было для меня Евксинским понтом. «Вторую ночь, – писал я утром 28 июля на борту *Адмирала Нахимова*, – мне снится один и тот же сон. Я вижу загорелых воинов в сандалиях с поножами, в коротких плащах, с круглыми щитами и мечами, более напоминающими длинные ножи. Они выскакивают на берег из крутобортых, смехотворно маленьких судов и тут же, копьё наперевес, вступают в бой с лестригонами, усеявшими песчаную прибрежную полосу. Стремительная фаланга движется от судов на дикарей. Лестригоны отступают, ошеломленные диковинными пришельцами: блеском их оружия, их удивительными судами, их ловкостью, их непостижимым боевым порядком, слаженностью и дисциплиной. Как они молоды! Они молоды той незнакомой нам молодостью, которая уже никогда не вернется: это – молодость человечества... Эллада, детство человечества, значит для меня больше моего собственного детства. И вот теперь этот плавучий ресторан "Адмирал Нахимов" пронесит меня над теми же самыми волнами. Когда я вглядываюсь в линию горизонта, мне кажется, я различаю паруса греческих трирем...»

На следующий день я этот сон аккуратно зарифмовал.

Какой бедой занесены сюда –
Гордыней детской, страстью исполинской? –
Пересекали греки понт Евксинский...
Мне кажется, я вижу их суда

У той черты, где небо и вода
Сошлись на грани тверди материнской.
Твой север пасмурный, твой берег финский –
Последний пласт былого их труда.

Смотри: причалил смехотворный флот,
И – на берег выскакивают разом
Фалангою – и тут уж бой идет.

И лестригон, кося дикарским глазом,
Бежит от них, покинув свой оплот.
И утро пламенеет над Кавказом.

В первом варианте сонета «исполинский» рифмовалось у меня с «Житинский»: имелось обращение к наставнику, но потом оно мне показалось уж слишком притянутым и выпало из текста. Что «исполинский» подходит к Житинскому, в этом я не сомневался. Полушутя-полусерьез повторял я в походе строчки, из которых стихотворения не получилось: «Житинский – князь поэзии, но князь, каких земля не знала отродясь...»

Качки не чувствовалось. Стояла жара. С вечера мы расположились в кормовой части судна. Там был бассейн, в него напустили воду. Дети, а потом и взрослые кинулись купаться. Брызги летели оттуда в таком изобилии, что ручьи поползли по наклонной палубе под наши рюкзаки и пожитки. Текло еще из будки для переодевания; там отжимали купальники и плавки. Женя увещевал публику. Публика не слушала. Подвыпивший самодовольный плебей сказал Жене что-то, что показалось мне антисемитской выходкой. Я полез драться. Женя едва оттащил меня. Спустя минуту произошло примирение. Мужик, уже спокойно, говорил мне об уважении к

старшим; я, сдерживая отвращение, согласился: «Вы правы, я неправ...»

– Ну, вот уже за это я тебя уважаю, – заключил он. От этого уважения у меня началась тошнота. Я сдержался, стиснув зубы и сжав кулаки.

Пили чешский праздрой, по полтиннику за бутылку. Купались в этом самом бассейне. В половине четвертого были в ялтинском порту; отплыли в шесть. Вечер не принес прохлады. Уже в сумерках открыли по банке консервов «завтрак туриста»; для нас с Женей это был завтрак, обед и ужин. Лобан и Нина обедали в ресторане второго класса: по рублю семь копеек с носа.

В четверг, 29 июля, прибыли в Новороссийск, которому предстояло стать последним портом *Адмирала Нахимова*. Стояли долго, наконец, начали отчаливать. С помощью буксиров *Бравый* и *Безупречный №5* плавучий ресторан развернули носом в Цемесскую бухту.

На пути в Сочи заметили мы новую пассажирку на прогулочной палубе: хрупкую, светловолосую девушку, загорелую до черноты. Первым ее заметил Женя, он же и заговорил с нею. Галя оказалась из Красноярска; студентка, хм, юридического факультета, первокурсница. Плыла в Анапу, в полном одиночестве. Как тут было не размечтаться?

В 19:30 были в Сочи – где, наконец, сошли на берег. Поездом добрались до Туапсе; ночь провели на садовых скамейках.

В пятницу, 30 июля, на катере *Агат* (с билетами только до Ольгинки, по 60 копеек), прибыли мы в Ново-Михайловку. Тихайшее, ностальгическое голубое море, сплошь усеянное маленькими медузами (а с борта *Адмирала Нахимова* мы видели метровых, грибовидных, – они, как мотыльки на огонь, стекались к винту и исчезали в кипящем водовороте).

Палатки поставили «на Горе»: было там такое место, где все ставили палатки. Тут же мы разбивали лагерь в 1969 году, на той же самой «площади Троглодитов». В магазинчике *Маяк* (раньше он назывался *Смешанный*) я купил себе плавки за 4,90.

В лагере Политехнического меня тотчас взяли в волейбольную команду. Предстояло играть с харьковским лагерем. Ко-

манда у нас оказалась плохая, мы были побиты по всем статьям (0:2). Знакомых в лагере нашлось мало, многообещающих отношений ни с кем из девушек не возникло. Стояла жара, тяжелая даже для меня, любителя жары. Стихи, писавшиеся в дороге, тут пропали. Мои попутчики все время играли в преферанс, так что мне с ними делать было нечего. Я сперва отдалился, а потом и вовсе отделился: 4 августа собрал свой рюкзак и отправился в дорогу – куда глаза глядят.

Ехал на попутках на северо-запад. Лермонтовка (Тенгинка), Джубга, Архипо-Осиповка (где я отдыхал с родителями после первого класса). Один раз попался разговорчивый шофер.

– Этим людям дай только оружие, они за одну ночь революцию сделают. Они что говорят: до Советов мы здесь жили вот так, – характерный жест. – А теперь нам здесь невтерпеж. А за границей, говорят, житуха.

Заметив мой блокнот, спросил:

– Что, дневник ведешь? Потом, небось, научные труды публиковать будешь? Или стихи и поэмы? Ты вот фельетон напиши: песок из Краснодара в Туапсе возим.

– А что, там своего нет?

– Есть, да грузить некому. А в Краснодаре есть экскаватор: черпнул да и погрузил.

В Геленджике я устроился ночевать на пляже, на оставленном лежаке (тотчас увидав тут рифму). Мешал спать ветер, бросающий в лицо пыль и бумажки. Тут приключилась история.

Подходит ко мне человек в одних плавках, с рубашкой в руках. От него несет перегаром. Говорит, что у него пропали брюки, туфли и пятнадцать рублей денег.

– Десятка, трешка, рубль и железный рубль, в него завернутый... и путевка. Ну, путевку я завтра новую выпишу на сегодня. Всё в кармане рубахи лежало! – показывает рубашку.

– Ты не беспокойся, – говорит, – я местный. Шесть лет здесь живу. Ты мне дай какие-нибудь дрянные штаны и на ноги что... Поедем ко мне, всё будет хорошо. Я только на две минуты в воду зашел, окунулся, даже часы не снял, вылез, смотрю, нет ничего. Хожу, значит, по пляжу, спрашиваю, а народ

смеется, не верит, мало ли, говорят, здесь таких ханыг ходит.

Я стянул с себя штаны (на мне было две пары), достал из рюкзака туфли – и одел ханыгу. На остановке я разглядел его: низколобый, бессмысленный, отвратительный.

– Баба моя раскричится, – брюзжал он. – Я всё никак в толк не могу взять: пятнадцать рублей! Десятка, трешка, рубль и рубль железный... Ну, путевку я завтра новую выпишу.

– Ты что, шофером работаешь? – догадался я.

– Нет, трактористом, дорогу строю... А народ не верит, смеется... хожу, значит, по пляжу...

Родом он оказался из Луганской области, служил в Мурманске, после армии осел в Геленджике. Мною он совсем не интересовался. Но я всё-таки ввернул, что отстал от туристской группы, хочу добраться до Феодосии, там меня будут ждать.

– Феодосия? Это где? – спросил он. – В Крыму? А Крым где? В сторону Новороссийска? А...

Выяснилось, что ханыгу зовут *Валерой*.

Объехали чуть не весь залив, вылезли на далекой окраине. Оказались в убогой хижине – иначе не сказать: стол, кровать, печка, выходящая в три крохотных каморки; детская кровать. Жена встретила его тихо и безнадежно, на меня едва взглянула. Я собирался лечь на полу, но Валера уложил меня в свою постель, а сам лег на пол. Скандал жена отложила на следующий день. Когда я утром уходил, он был в разгаре: она собиралась жаловаться какому-то Фроловскому...

Опять дорога. Кабардинка, Новороссийск, Анапа. В Анапе я осел: снял на пять дней угол в сарае по адресу Крымская 134. Именно угол: в том же сарае ночевал сын хозяйки. Но что сарай! Постель была мягкая, наслаждение совершенно мною забытое.

Хозяйка, Полина Леонтьевна, сперва мялась: ей неудобно было сдавать такое жильё:

– Прописывать сюда мне вас неловко – что люди скажут?

Но паспорт взяла и прописала.

Еще не осев, я оставил рюкзак в камере хранения на вокзале и сходил в баню; тоже непередаваемое наслаждение.

У меня был анапский адрес девушки с *Адмирала Нахимова*, Гали Дубашовой: Новороссийская 165, кв. 5. Я без труда нашел улицу и девушку. Гуляли допоздна, болтали. Я читал стихи, свои и чужие. Расстались в полночь. «Ничего не требовалось», записал я в дневнике. Придя к себе в сарай, нашел там хозяйского сына Толю (слава Богу, не Валеру), маляра, моего ровесника. Он поделился со мною жизненным опытом: в Анапе не хватает рабочих рук.

– Строительные рабочие всё время нужны. Я вот зимой по 250 рублей зарабатываю [я в аспирантуре получал сто]. Летом – меньше. Какая здесь зима? Ниже минус двух не бывает. Я в крупные города – ни за какие блага. У нас ведь заводов нет, только хлебзавод да рыбзавод. Воздух какой! Ну, зимой шторма. Нордос дует с моря. Нордосик, он обычно дня три дует кряду. Потом – перерыв. А если нет, тогда еще три дня, неделя. Население тут больше русское. Есть армяне, кубанцы, греки. Мой товарищ Коля, у рынка спорттоварами торгует, он грек. А пляжи! Джемете, Бимлюк. И аэропорт в Витязеве, это греческий поселок...

Я едва верил своим ушам: нордос, хлебзавод... И кубанцы – как отдельное племя. Вот уж ни сном, ни духом не видел я себя бытописателем.

Мой курортный роман с Галей Дубашовой длился с 5 по 9 августа. В первый же день была обида: я предпочел волейбол, на пляже была площадка; Галя ушла одна; но вечером мы встретились. Дальше – расставались только на ночь. Вместе ходили на пляж и в столовую *Дружба*, осматривали раскопки Горгиппии, посетили краеведческий музей. Вечерами гуляли по улицам и целовались, причем этому искусству ее пришлось учить.

Возьму и нарисую
Счастливый этот миг:
Тебя совсем другую,
Твой просветленный лик.

Овал твоих тяжелых
Слегка припухших век
И флорентийской школы
Твой рот, твой смертный грех.

Одним штрихом, с натуры,
Как выйдет, наугад:
Еще недавно хмурый,
Сияет счастьем взгляд.

Я напишу и спрячу
Написанный портрет –
На память... на удачу,
На много-много лет.

С ним не страшна рутина
Сермяжного житья:
Мадонна Перуджино
На долгий миг – моя.

В дневнике значится: «Первые и вторые любовные ласки». Третьих – не было, и не потому, что их нельзя было добиться: нельзя было обидеть ребенка.

Нравилась мне Галя так... да что там: влюблен я был так, как, может быть, никогда в своей жизни; на минуту подумал: вот я и нашел ту самую принцессу. Повторял себе: умна и прелестна; во всём отвечает моей мечте. Всё тут было на месте, включая выгодную для обоих возрастную дистанцию: мне – 25, ей – 18 (заметим, как я повзрослел! давно ли всерьез принимал только ровесниц?). Ее привлекали мои знания, меня, как это ни пошло, – ее нетронутость. Пошло, пошло – но разве не всегда так было в старину, веками, тысячелетиями? Взять хоть Пушкина: чем прельстился? Внешностью, молодостью, красотой. «Если бы я дал волю своему настроению, если бы опыт не требовал сделать скидку на изменчивость человеческой природы, я сегодня просил бы ее стать моей женой...», записал я 9 августа. Но опыт – требовал. Говорил внятно: чушь, наваждение, дешевая романтика, юг, чужая девчонка, живущая за тысячи километров. Если это больше, чем минутное увлечение (для тебя и для нее), всё можно будет вернуть; вот вам и проверка – расстояние, расставание.

Уехал я из Анапы сам, никто меня не гнал, никакие сроки не поджимали. На прощание Галя всплакнула. Девятого она

посадила меня на Комету-7, отходившую в Керчь. Больше мы не виделись. Переписывались с полгода, писали друг другу из Ленинграда и Красноярска; я держал на столе ее карточку. Несколько лет спустя, когда я уже был женат, она написала мне о своей судьбе, совершенно обычной: вышла замуж за одноклассника, развод, ребенок. Работала следователем. Я вспомнил Анапу. Отвечать не стал.

Из Анапы в Керчь (из Горгиппии в Пантикапей!) я добрался на подводных крыльях за час пятьдесят минут – и за трешку в денежном выражении. Что это был за Пантикапей! Над рынком висело: «Трудящимся – изобилие продуктов!». И еще: «Работники государственной и кооперативной торговли! Совершенствуйте торговлю и общественное питание, лучше обслуживайте население!». Прочли бы это эллины или хоть жители Боспора времен Митридата!

В столовке не оказалось первых блюд. За шницель, салат из огурцов и стакан молока я заплатил 63 копейки. Ужинал на базаре виноградом и дынями (соответственно 60 коп. и 70 коп. за килограмм). На улице Ленина нашел канализационный люк с надписью «Артель им. Сталина». Пожалуй, он и сейчас там.

Из Керчи до Феодосии добирался автобусом (рубль 58 копеек билет и 50 копеек багаж); добрался к ночи 9 августа. Ночевал на улице Шевченки, в сарае, у какой-то злой и подозрительной старухи, подобравшей меня на автобусной станции.

Во вторник 10 августа я подсчитал оставшиеся деньги: их оказалось 27 рублей с копейками. Билет до Ленинграда (через Москву; прямые поезда «отменены до увеличения пассажиропотока») стоил 17,60.

Город мне понравился. В центре Феодосии носили ведрами воду от уличных кранов; у каждого крана стояла очередь. Плакат гласил:

Слався подвигом трудовым,
Дважды орденосный Крым!

Был и такой:

Наши сердца стучат в ритме со временем,
Нас в коммунизм ведет партия Ленина!

Ремонт одежды называется *Алые паруса*.

Расплатившись со старухой, я поехал в Орджоникидзе, поселок, в котором год назад провела отпуск Фика (и где она познакомилась со своим *Валерой*). Там я нашел площадку на горе; палатку ставить не стал, зато стоянке своей дал имя: логово Ослиное Гнездо. Оставил рюкзак, кое-как его замаскировав, и отправился по горам в Коктебель, на могилу Волошина. Поход был небезопасный, слева от узкой горной тропы был обрыв; внизу – скалы и ослепительно прекрасное море. Иногда я спускался в особенно красивые бухты, чтобы искупаться, затем опять поднимался на тропу. Стихи буквально навалились на меня; строфы складывались без всякого усилия, а записать было негде, я не взял блокнота.

Поэт направлялся к поэту.
На свете стояла жара.
Нехитрую песенку эту
Над ним напевали ветра:

– На добрых людей понадеясь,
Без снеди в дорожном мешке
Шагал босоногий индеец
По горной тропе налегке.

Забыл он и счастье, и горе,
Дорогой своей увлечен.
Искрилось под скалами море.
Сиял голубой небосклон.

Шагал быстроногий индеец
За тысячу миль от семьи,
На крепкие ноги надеясь,
На сильные руки свои... –

Поэт направлялся к поэту,
Шагал, напевая в пути,

Чтоб песенку, как эстафету,
К могиле его принести.

Я сочинил несколько таких же стишков, а под конец до такой степени погрузился в звуки и ритмы, так был ослеплен красотами, что внезапно обнаружил себя на вершине тридцатиметровой скалы, с которой не было спуска. Как я там оказался, понять было невозможно. На минуту сделалось страшно. Я взял себя в руки, выбросил бутылку с остатками кваса, надел шорты (на мне были только плавки), и стал спускаться с уступа на уступ, обдирая ногти, руки и ноги. Не сорвался, уцелел, выбрался на тропу и даже могилу Волошина нашел.

О могиле я спрашивал немногих встречных, на тропе и на пляжах. Люди отвечали уклончиво. Это подтолкнуло меня к шалости. Один раз я спросил так:

– Вы не слышали? Говорят, где-то здесь в горах есть могила известного в прошлом поэта Юрия Колкера...

Мне ответили охотно и доброжелательно:

– Как же, как же, слышали! Вот только точно не знаем... где-то у Планерского...

Характернейший момент! До и после – всегда, сколько себя помню, – я не выносил розыгрышей, не принимал комедии ситуаций; если герой кинокартины попадал в неловкое положение, я прятался под скамейку, выходил из комнаты или зрительного зала. Рассказывают, что композитор Никита Богословский как-то явился на званый обед голым: мол, его раздели и обокрали, – мне это читать было тяжело, не то что вообразить. Такого рода шуток душа не принимала. Этот мой вопрос на тропе – первый и единственный опыт такого розыгрыша за всю мою жизнь; судите же, как я был счастлив, в каком перевозбуждении находился в 1971 году... но можно и так сказать: в какой мере перестал быть собою.

Могила Волошина нашлась на гребне седлообразной горы, доминирующей над всей округой. Выглядела так: овальная насыпь из обломков скал и гальки размером три метра на полтора. Галькой выложен ее верх. Галька неоднородна. Красные плоские камешки заботливо и очень ровно вписывали

крест в эллиптический верх насыпи. У изножья вставлена в насыпь бутылка, а в ней – цветы. Могила ухожена. Растительности вокруг никакой, только трава да у самой могилы – куст (который весь был усыпан божьими коровками). К подножию могилы я положил камень, поднятый на равнине. Десятилетия спустя узнал: класть камень на могилу – еврейский обычай.

На обратном пути я опять купался. В одной из бухт, совершенно безлюдной, забыл на прибрежной гальке часы, потом возвращался за ними через перевал. Откуда только силы брались?

А вот самое главное: рюкзак мой не пропал; вернувшись в полном изнеможении, я нашел его на месте, в Ослином Гнезде. Это ведь была первейшая забота в течение всей поездки: сохранить вещи, не дать добрым людям украсть рюкзак, деньги, часы. Ночь была обычная. Я привык спать на жестком.

Сонные бухты и рыжие скалы.
Твой обожженный, оскаленный Крым.
Первою ты этот мир отыскала.
Я этот мир открываю вторым.

Первою ты увидела воочью
Давнее чудо татарской горы:
Звезды, призывно горящие ночью
Между уступами, точно костры.

Где же я был, сочинитель, бродяга,
Где и кому на обиду пенять?
Тайнопись гор, палимпсест Карадага
Первою ты догадалась понять.

Наутро, в четверг 12 августа, я поехал в Феодосию и купил билет до Ленинграда через Москву на пассажирский поезд номер 170. Поезд отправлялся в этот же день, в 21:00. Затем я отыскал музей Александра Грина, но туда меня не пустили: я был в шортах. Бродягу – не пустили в музей певца бродяг! Что ж, всё правильно. После смерти Грин приобщился к истеблиш-

менту, стал читаемым автором; попал к музам. А перед самой кончиной всё просил жену привести к нему хоть одного своего читателя.

До вечера оставалась уйма времени. Чтобы убить его, я опять отправился в Орджоникидзе, причем значительную часть туда и назад проделал пешком.

В Феодосии повсюду продавали белое вино в квасных бочках. Перед тем, как сесть в поезд, я выстоял получасовую очередь и выпил пол-литра. Затем, намеренно, еще раз отстоял получасовую очередь и выпил 200 граммов.

В поезд в шортах меня пустили. Под шортами были плавки, сверху – рубашка с закатанными рукавами, надетая на голое тело, тощее, грязное и загорелое; на ногах – так называемые вьетнамки: подошва и две лямки под большой палец ноги. Так я и в Москву приехал, а оттуда – в Ленинград. Добравшись к себе на Гражданку, обнаружил в кошельке рубль и четыре копейки мелочью, а в тетрадке – семнадцать стихотворений, почти не требующих правки. Иные годились в печать. Семь из них были написаны в Ослином Гнезде, в Феодосии и Коктебеле. Блаженное одиночество!

ЭТЮДЫ ПЕССИМИЗМА

Дома первым делом я привел в порядок и отпечатал привезенные стихи – на той самой неперменной почтовой бумаге с голубой каймой, 44 копейки 50 листов. Придумал им эффектное название: *Дневники Одиссея*. Поставил эпитафию: «Одиссеей возвратился, пространством и временем полный... О. М.». Всё было замечательно в моей жизни. Никогда мне не было так хорошо, как в эти недели, в эти месяцы. Думать – не хотелось и не нужно было, хотелось собирать мёд: стихи и ласки, к чему я немедленно и приступил.

В кипе бумаг на столе нашел я лежавшие чуть не с января стихи Ларисы Р., фигуристой девушки из АФИ, беспомощные, но трогательные, и тотчас на них откликнулся:

Над твоими стихами я плачу четвертую ночь,
Над твоими стихами, тончайшими, как паутинки.

Их высокому строю шепчу: приговор свой отсрочь!
Может статься, по мне эта осень справляет поминки.

Над твоими стихами луна одиноко взошла,
На столе у меня тишину сообщила предметам.
Может быть, ты и знала, что зло я творил не со зла.
Может быть, ты и знала, но нет искупления в этом.

Слезы тут придуманные, мне было весело. С Ларисой, с божьей помощью, всё завершилось. Там на меня виды имели, я ходил в женихах, не сделав предложения, – худшая из несвобод. Ее мама в мою честь устроила однажды званый обед с еврейскими блюдами и родственниками: не обед, а смотрины. Всё позади – отчего же и не всплакнуть в стихах?

Отпечатанный цикл я раздал подругам, оказавшимся в городе: Рите, Кате, Тане и Фике. Первые две как читательницы в счет не шли. Вторые две меня похвалили. Прежние отношения казались восстановленными – будто ничего и не случилось, однако ж Фика при первом расставании бросила меланхолически:

– Житинский продолжает приходить.

Это, в сущности, был вопрос. Я не ответил – и тем самым ответил. Мне было всё равно. Но через день или два выяснилось, что не совсем всё равно. В субботу 21 августа я отправил Фике по почте гневное письмо (на той же почтовой бумаге, аккуратно переписанное на машинке под копирку):

«Фика! Сегодня мне звонил Житинский, и с его слов я заключил, что ты показывала ему мои стихи. Мне непонятно, как ты могла на это решиться. Поступок твой я считаю бестактным и для себя совершенно унижительным. За последние 5–6 лет никто из моих друзей так цинично со мной не обходился. Интересно знать, что бы ты сказала, если бы я подобным же образом распорядился каким-либо из твоих интимных дел.

Неясно, как ты можешь при этом рассчитывать на какое-то доверие с моей стороны.

Ю. Колкер»

Выходило, что я всё-таки ревновал. Или нет? Собственно говоря, первой причиной гнева и письма была моя грамматическая ошибка: Одиссея – я написал через *e*: *Одессей*. Об этом как раз и сказал мне Житинский по телефону: мол, чего уж так каламбурить, писал бы лучше правильно. И он, и Фика решили, что это именно каламбур: ехал через Одессу, ну, и пошутил так глупо. Оба писали грамотно, не то, что я. Меня же от этой ошибки бросило в холодный пот. Годами не мог о ней забыть – будто не было вещей более постыдных. Постыдных и страшных.

В июле Фика обошлась без аборта, народными средствами. В прошлом это не всегда выходило так. Говорю о самом ужасном, низком и отвратительном в моей жизни: о том, что я, в сущности, убийца или, по меньшей мере, соучастник убийств; так понимает это религиозное сознание, хоть и без него то же самое выходит. В Бога я не верил. Никакого бога (не то что Бога) латинское слово *religio* не подразумевает. Оно означает совесть, сомнение, духовную жажду, разбуженное нравственное чувство. Грех тоже без бога обходится. Я всю жизнь прожил атеистом (Бог или бог появлялся только со стихами) – и, вместе с тем, в сознании своей греховности, хотя многим, не одной Веронике, казался «чистым мальчиком».

Четыре женщины, да и не женщины, а девчонки, попадали по моей вине под нож гинеколога; Фика – дважды: в 1966-м и 1969-м годах (но, если всю правду говорить, не только по моей вине попадала; было еще однажды, почти сразу после школы). Первый раз она оказалась в больнице где-то рядом с Крестами. Я, униженный и раздавленный, носил ей туда цветы. Нянечка, принявшая, их сказала Фике: «Он у тебя красивый». Красивый! Я себя ненавидел, презирал, мучился, но делать тут было решительно нечего: в отцы я не годился, сам был ребенком, а женитьба в двадцать лет, да еще вынужденная, представлялась мне полным концом всякой жизни, унижением хуже смерти. Ученая карьера, стихи, будущее – всё нужно было бы принести в жертву. Этим (допустим на минуту) я бы и пожертвовал, любви Фике чуть больше; да и угрызения совести могли перевесить, если не любовь; я понимал, что евмениды не оставят меня до старости; так и вышло. Но одна вещь в жертву никак не

приносилась: право влюбляться, мои будущие и, хм, текущие влюбленности: потому что я всё время был в кого-то влюблен, и не в одну, в нескольких сразу. (В Одессе говорили: «Такой возраст. Не знает, то ли это любовь, то ли какать хочется...») Когда я задумывался над этим; пытаюсь осмыслить свой юношеский цинизм; когда ставил вопрос прямо: как же так?! – меня охватывало уныние. Не помогали и авторитеты. В 1968 году я нашел у Стендаля и выписал следующее утешительное высказывание:

«Предложите князю Колонне или другому наугад выбранному итальянцу любить всегда одну и ту же женщину – и будь она хоть ангелом, он возопит, что вы пытаетесь лишить его трех четвертей всего того, ради чего стоит жить на свете...»

Стендаль, как видим, тоже искал себе оправдания; его итальянец – чистая схема, выдумка. Не знаю, как Стендалю, а мне его припарка приносила только временное облегчение, от более не избавляла. Избавлял – головокружительный вихрь юности. Спустя какое-то время всё забывалось.

В 1969 году аборт делали почему-то частным образом, в квартире на проспекте Гагарина. Я ждал Фику в универмаге; в ту пору понастроили в городе этаких стандартных двухэтажных торговых зданий (все они потом были переоборудованы в кафе, чебуречные и рестораны). Фика вернулась бледная, как смерть, с белыми губами, прошептала: «Двойня» и упала на меня, не поднимая рук. Может, в этот момент я и любил ее. Любовь по-русски – жалость (особенно на юге России). «Ты меня не любишь, не жалеешь...». Сохранилась моя дневниковая запись, помеченная 23 октября: «Мне кажется, я близок к истерике».

Отношения Житинского и Фики к осени 1971 года, по всем признакам, перешли в приятельские, – но разве и мои отношения с нею не были такими же? От их отношений остались в памяти обломки стихов:

Ведь мы с тобой накоротке –
Не это ль подлинное мщенье?

Потом каждый из них уверял, что охладел первым. Со мною – Житинский оставался по-прежнему угрюмым, наша дружба шла к концу; я сдавался; невозможно долго любить того, кто суров с тобою, сторонится тебя. Здесь и Кушнер мне помог, сказал как-то (в 1972 году) на Большевичке:

– Что вы так носитесь с этим Житинским? – Сказал с неожиданным для меня раздражением. Фигура умолчания состояла в том, что носиться следовало с ним, с Кушнером. Критики в свой адрес он не допускал. Много позже, в начале 1990-х, я напечатал статью в его защиту (одна завистница обвиняла его в зависти к Бродскому и Мандельштаму; речь шла о прозе Кушнера). Выступив апологетом, я, однако, сказал между делом, что в прозе Кушнер не равен себе. При первой же встрече он принялся шепотом кричать на меня: «Юра, что вы пишете?!». Не допускал, выходит, что я пишу равным счетом то, что думаю.

Тогда, на Большевичке, после слов Кушнера «что вы с ним носитесь?», у меня мелькнуло: в самом деле, чем я хуже Житинского? Я теперь сам с усам. Мелькнуло, но быстро прошло. Я продолжал чувствовать, что в стихах Житинского есть для меня неизъяснимая прелесть. Особенно – в стихах 1971 года. Я всегда видел их технические слабости, но что такое мастерство, когда речь идет о *последней прямоте*? Я всё еще учился у Житинского, переписывал на свой лад подхваченные у него мотивы. Вот его стихотворение (лето 1971 года):

Уже незаметное утро
Дотронулось краешков глаз.
Подумай, как просто и мудро
Природа устроила нас.

Она словно знала, как вечны
Признанья твои и нежны,
Как волосы ночью беспечны,
А губы мягки и влажны.

И, день перепутавши с ночью,
Из сна перенесшая в явь,

Она создала нас воочью,
Из утренней мглы изваяв.

Мне казалось, что за строку «Как волосы ночью беспечны» не жалко жизнь отдать. А утренняя любовная сцена, целомудренно приоткрытая в последней строфе? Это роденовский мрамор, твердил я себе.

А вот мой отклик:

Время с цепи сорвалось.
На два печальных сугроба
Утро в постель пролилось
Зябкое, точно хвороба.
Солнцу неважно спалось.
Меркнут трапеции, чтобы
Парой настенных полос
Вновь появиться для пробы.
Тайна, печаль и вина –
Тонкая, как седина
Ночи алмазная сутра –
Выветрилась, не видна.
Милая, как ты бледна!
Что тебе снилось под утро?

Иной, пожалуй, скажет: мол, и не хуже ничуть. А преемственность, не признай я ее тут прямо, уловить невозможно. Но я-то знал, откуда мои стихи растут и чего стоит моя изошренность (это, между прочим, сонет) рядом с его простотой и естественностью, с его светом и воздухом, с его фактографией души.

Помню, что эти мои стихи Житинский выслушал как-то особенно мрачно (мы сидели на скамейке в Политехническом парке, напротив Дома ученых в Лесном и второго профессорского корпуса). Догадывался, видно, что адресат у них один. Думаю, что к этому времени в его отношении к нашей общей подруге преобладала уже не любовь, а обида. Он не понимал, как она могла вернуться к такому поверхностному вертопраху, как я, не полюбить навсегда его, не видеть, что он – умнее, что его стихи – лучше.

Повлиял ли хоть в чем-нибудь я на Житинского? Не вижу этого. Но одну несомненную поэтическую переключку со мною нахожу. Вот его стихотворение 1976 года:

Лови уходящее счастье,
Безумную птичку-любовь!
Ты больше над милой не властен,
Ничто не повторится вновь.

Беги по ночному бульвару,
Глотая осенний туман,
И где-то в гостях под гитару
Пой песни, бессилен и пьян.

Прокручивай в памяти снова
Безвкусное это кино:
Легчайшая сеть птицелова,
Пустая квартира, вино,

Загадка случайного взгляда,
Обман, не любя и любя...
– Не надо, не надо, не надо! –
Тверди это так про себя.

Измученный медленной жаждой,
Смотри в проходящий трамвай
И с трепетом в женщине каждой
Родные черты узнавай.

А вот мои стихи 1971 года, послужившие, по моей догадке, отправной точкой:

Прощай, не моя дорогая!
В холодном свечении дня,
В окне, на площадке трамвая
Мелькни, не заметив меня.

В сыром петербургском предзимье,
Где воздух колюч и тяжел,
Панели в расплывшемся гриме,
И ветер слезой изошел...

Занятно, что Фика хоть и ценила посвященные ей стихи Житинского («женщина любит ушами»), но критиковала их, в глаза ему говорила, *что* ей в них не нравится и почему. В талант его, как некогда (в детстве) в мой, до конца и безоглядно не поверила, даже мои тогдашние, намеренно приниженные опусы 1971 года ставила выше его стихов. Меня это смешило, но в споры я не пускался; «в пределе» (как говорит Цветаева) собирался превзойти не то что Житинского, а Данте Алигьери.

В талант Житинского не верили многие; в точности, как ранний Кушнер, он казался словно бы не совсем поэтом, а таким «проходимцем в печать». Дмитрий Толстоба и Ирина Знаменская, его приятели по кружку Азарова в Петропавловке, поощряли его опыты в прозе, а на стихи поглядывали свысока. Прозу Житинский начал писать не позднее 1969 года. В 1972 году написал первую большую вещь: повесть *Лестница*. Помню ее в аккуратно переплетенной машинописи. Прочесть эту сюрреалистическую повесть до конца я тогда не смог, заскучал, хотя выдумка там была незаурядная, и успех, правда, с большим опозданием, повесть имела; по ней и фильм поставили. На устах и в сердце у меня был всё тот же вопрос: к чему проза, когда есть стихи? Зачем писать прозу? Слова Ходасевича «Обо всем в одних стихах не скажешь» то ли прочитаны не были, то ли до моего сознания не дошли.

Мне Житинский, среди прочего, показывал и свои крохотные прозаические зарисовки, тоже сюрреалистические. Вот одна из них.

ПЧЕЛКА

По улицам летела модная пчелка тридцати с небольшим лет и собирала мужские взгляды. Взглядов было доста-

точно. Пчелка едва успевала прятать их в сумочку, которая болталась у нее на плече. Прилетев домой, пчелка складывала взгляды в специальную баночку, где они постепенно превращались в питательный крем для лица.

Шло время, и питательного крема требовалось всё больше, а взглядов пчелка собирала всё меньше. Да и взгляды были теперь мимолетные и некачественные. Крылышки у пчелки поседели, и она превратилась в одинокую старую муху, которая нервно жужжала, натываясь на стекло.

Вывод может быть только один: надо беречь мужчин.

Этого я уже совершенно не принимал. Говорил ему: неужели не видишь, что ты непоследователен? Ведь это авангард, а в стихах ты классицист. Подумай, какому вкусу ты угождаешь, какой эстетике служишь! Он отмалчивался. Проза стала для него потребностью. Сюрреализм давал выход горечи. Поэт ждет любви, на меньшее – не согласен, а стихами Житинского восхищался один-единственный читатель (я), причем с этим читателем, с этим непрощенным учеником и другом, точно в расплату за восхищение и в насмешку, приходилось делить возлюбленную.

С лета 1971 года Житинский вообще помрачнел. Появляются стихи, вошедшие потом в цикл *Этюды пессимизма*. Название – возражение Мечникову, его *Этюдам оптимизма*. С книгой Мечникова с начала 1971 года носилась моя и фикина подружка Таня; она думала, что это «научный труд», примеряла на себя советы первого русского эмигранта от науки. Книга и в моих руках побывала, о Фике же и говорить нечего. От нее она попала к Житинскому и подсказала название цикла.

ПРОКЛЯТАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ

«Минута, и стихи свободно потекут...» – таков был метод работы Житинского. Стихи явились к нему внезапно в возрасте 22-х лет: явились как новый способ постижения мира, способ неожиданный, мощный и *легкий*. Он верил первому мазку, дорожил первым впечатлением, первым движением души (по Талейрану, оно – самое благородное). Как-то в 1971-м или

1972 году, оказавшись в редакции журнала *Аврора*, Житинский, между делом и разговором (там случилось что-то вроде импровизированного застолья), написал порядочное по числу строк стихотворение октавами, изумив окружающих, сплошь стихотворцев.

– Они думали, что это трудная работа! – сказал он мне с усмешкой.

И он был прав: писание русских стихов – одно из простейших умственных упражнений. Кварки и банаховы пространства, шахматы и преферанс требуют больших знаний, большей сообразительности. Палитра поэта – родной язык – принадлежит всем; учиться поэту почти нечему, специальные знания ему не требуются. Образованный, начитанный, культурный (в старом понимании этого слова) человек всегда может написать хорошее стихотворение, а то и цикл. Пишущих стихи по-русски – многие тысячи; и многие, очень многие из этих тысяч пишут неплохо, даже хорошо. Отчего же тогда поэтов, безусловно это имя заслуживших, бывает так мало – десять, много двадцать в каждом поколении? «Поэт работает всем своим существом», отвечает Заболоцкий. (Заметьте, как мало Заболоцкий выделялся среди своих современников даже и в последние годы жизни; стоял в сознании большинства где-то рядом с Винокуровым, Наровчатовым, Дудиным, с не самыми худшими из писавших в рифму; и – как разом вознесся над всеми ними за десятилетия своей смерти.)

Жертвенность и аскеза, вот что (а не дар стихосложения) превращает стихотворца в поэта; умение и потребность «для звуков жизни не шадить». Непосредственные, общие для всех людей радости (любовь, благосостояние, положение в обществе, семья) приносятся в жертву чему-то неосязаемому, ускользающему и неверному: соединению звука и смысла. Чему-то, добавим, непереводимому на другие языки; музыка и живопись не требуют перевода; физика и математика – тоже, они сами – языки; проза переводу поддается, а стихи – тут забудьте о переводе, если вы не сумасшедший. Стихи в своей первоизданной полноте замкнуты в границах родного языка, родной просодии. Звуками чужого языка передается только имя поэта, да и то неточно. Но и это не всё: жертва тем еще страшна, что

ты никогда не знаешь, принята ли она, угодна ли божеству. Бюратынский – и тот не знал:

Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форум!..
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума.
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар –
Смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый!

Выдерживают это испытание немногие, оттого и поэтов мало.

А вот, может быть, самое страшное испытание: изменчивость вдохновения. Когда пишется запоем, сочинитель не то что на седьмом небе, он – на престоле: он царь, у него Гомер на побегушках, Гете ему денщиком служит. Чувство это непередаваемое. Кто при некоторой одаренности его хоть раз испытал, тот попался. Зато и расплата тут как тут. Когда не пишется, ты раб, хуже раба. Ты каждый день спрашиваешь себя, по какому праву живешь и хлеб свой ешь. Ты, если честен с собою, видишь одно: все вокруг в каком-то смысле лучше тебя. И это – правда. Вычтем из Пушкина стихи: что останется? «Саранча летела, летела – и села. Села, всё съела и дальше полетела...». Это – Пушкин-чиновник. И в остальном он не выше был. В просвещении стать с веком наравне – пытался только на словах. Квадратного уравнения решить не смог бы. Французил, а про Ампера или Галуа слыхом не слыхивал. Великий человек – но какое зыбкое это величие! Вся жизненная опора – в звуках сладких и молитвах. Когда она изменяет, ты смертник, ты лезешь под пулю, как Пушкин, под штык, как Мицкевич.

На чем сломал себе хребет Житинский? Почему вовсе бросил писать стихи? Я и сегодня убежден, что в начале 1970-х он своеобразием своего дара (не силой и глубиной) не уступал в Ленинграде никому (ни Зое Эзрохи, ни Стратановскому, не го-

воря уже о Бродском), превосходил людей известных, утвердившихся в печати или в умах. Мало того: он уже и писал лучше большинства. И что? И ничего! В журналы его пускали как заведомого середнячка, а общественное мнение превозносило авторов, давно оставленных им позади.

Всё это он видел и понимал. Каким мучением должно было быть для него непризнание! А тут – как раз и аспирантура кончилась, приходилось служить в советском учреждении с названием, просящемся в эпиграмму: Ленинградский зональный НИИ экспериментального проектирования жилых и общественных зданий; не хуже моего СевНИИГима. Ездить приходилось через весь город на улицу Пирогова.

В личном плане тоже всё пошло наперекосяк. Женщины, способной делить этот зыбкий, держась на звуке успех, рядом не было. Сил для аскезы, для творческой жертвенности – в душе не нашлось. А когда муза стала посещать его всё реже, выяснилось, что свидания с нею он, человек первого мазка, продлить не умеет. Оставалась проза. Была она уступкой, компромиссом. Не писать вовсе – никак уже было нельзя.

Так Житинский и сделался прозаиком. Москвич Дмитрий Быков, тоже прозаик из поэтов, не раз говорил публично, что роман Житинского *Потерянный дом* – один из лучших в русской литературе второй половины века. Критик и эссеист Самуил Лурье, человек с очень высоким прицелом (по крайней мере однажды мне пришлось слышать, что Лурье – «лучший стилист современности»), написал в год шестидесятилетия Житинского, что не знает более своеобразного писателя в его (общем для них обоих) поколении. Мне же, в том самом 2001-м году Житинский сказал, что лучше всего и полнее всего выразил себя в стихах.

Итоговую книгу стихов, *Снежная почта*, Житинский издал в юбилейном 2001 году. Событием она не стала, не могла стать; большинство стихов слишком долго лежало в столе. Повторим это простое соображение еще раз, пусть хоть до оскомины: даже шедевр, если он вовремя не прочитан многими, не возвращается, будучи открыт через долгие годы, в контекст культуры во всем своем потенциальном блеске; что-то непременно теряет. А тут Житинский еще испортил дело, издав не

избранное, а почти всё: четыреста с лишним страниц. Рядом со стихами замечательными идут у него пустоватые стихотворные упражнения. Расстаться с ними – не хватило духу. Это, кстати, еще один из подводных камней под килем стихотворца: уничтожить неудачи – мука, тут по живому режешь; а если не режешь, то оставляешь на себя «донос ужасный» – на тот случай, если твоему имени суждено жить. Будь *Снежная почта* вдвое тоньше, ее художественное воздействие удесятилось бы.

Стихи в эту книгу вошли за годы с 1963-го по 1979-й. На первый взгляд – то же самое, что у всех неудачников от стиха: «Пятнадцать лет – лошадиный век». Но тут, как мы видели, дело глубже. Не подходит и вторая сентенция, которую любил повторять Георгий Иванов: родиться поэтом нехитро; а вот ты попробуй поэтом умереть. Житинский и в прозе остается поэтом.

О прозе вообще – тут вот еще что к месту будет сказать. Прозу (в отличие от стихов) необходимо привязать к действительности, к живой окружающей жизни, но разве не ясно было, что вся советская действительность – сплошной обман, что она – внутренне мертва? Оттого-то Житинский и стал писать преимущественно фантастику. Самые честные попытки писать прозу на советском материале ни к чему значительному не привели. Военная тема, деревенская проза – формы эскапизма; писатели уходят от сегодняшнего (ведь нельзя же не видеть, что русская деревня советского периода – средневековье). Мирная городская жизнь, нормальный материал прозы в нормальных странах, была в СССР сплошной крошечной ложью; ее, однако ж, еще требовалось приукрашать, причислять под идеологию. Что из этого вышло, сейчас и вспоминать неловко. Ни одного великого прозаика за столетие.

Среди честных прозаиков советской поры был один очень честный человек: Израиль Метгер (1909–1996), больше всего известный (да что я говорю? совершенно неизвестный!) по знаменитому фильму *Ко мне, Мухтар!* (1964). Вот уж кто верил, что есть, существует *чистая проза*, освобожденная от политики, от религии, от этноса. Лишь под старость позволил се-

бе вспомнить, что он – еврей. Любил Россию, служил русской прозе; довольствовался малым, не искал славы, верил в искусство. Дивный пример. Множество *почти чистых* повестей и рассказов. Но там, где он обращается к деревне, сразу пропускает фальшь; нельзя было, изображая колхоз, обойтись без идеологии. Не спасало и пресловутое народничество с полутора-равековой бородой, кажется, неискоренимое в русском интеллигенте. Я говорю о том периоде творчества Меттера, когда коммунизм еще не выдохся.

Настали 1970-е, и честный Меттер стал невозможен. Что большевизм мертв, знали уже все, сверху донизу. Тут оказался возможен честный Трифонов. Совершенно ясно, с кем он и против кого в своих сочинениях, – но его уже печатают, потому что деваться некуда; дракон издох. Что делает Житинский в своем романе *Потерянный дом*? Пытается принимать советскую действительность, условно говоря, по схеме Меттера: как если бы еще можно было рисовать ее и не судить, не знать, что вся страна – над пропастью во лжи. Роман (талантливый, местами и рискованный) написан с расчетом на советскую печать: в этом ему приговор. Он – не перекладывается на «просто жизнь», невозможен в общем, несоветском контексте. Его острота ушла – как если б ее и не было. Она сейчас и в России никому не понятна.

А стихи его из советского контекста вырваны. Поставьте их рядом со стихами Петрарки или Хайяма – и они выдержат сравнение. Лучшие из них могут жить как угодно долго; дольше, чем теперешний русский язык протянет. Смелее всех мыслимых политических выпадов было в 1970-е годы сравнить возлюбленную со звездой. Тут тебя бы высмеяли; а это – хуже лагерей. И что же? Житинский делает это, заведомо обрекая себя на «суд глупца и смех толпы холодной»:

И опять звезда горит в окне.
Милая! Не гасни надо мною!
Я готов сгореть в твоём огне,
Ниточкой сгореть волосяною.
Милая! Ты у меня одна.
Почему же медлишь, выбирая

Полусвет вечернего окна,
Словно шепчешь: – Я не та, другая...

Да, я пристрастен, но я (впервые в жизни) пишу о себе; пишу о стихах, которые любил и продолжаю любить со всею страстью пристрастного человека. Не вижу стихов, которые были бы мне дороже этих восьми строк ни у Петрарки, ни у Хайяма, ни у Кушнера с Мандельштамом под мышкой. Ни у себя-болезного. А у Житинского вижу:

В капризном рисунке зимы
Деревья и люди размыты.
Вот в Летнем саду – это мы,
А статуи плотно забиты.

Вот в Летнем саду – это нас
Кружило, как листья, недавно.
Теперь мы взрослее на час,
И снег опускается плавно.

Теперь мы выходим вдвоем
Прогуливаться по аллеям
И вот, обогнув водоем,
Взглянуть друг на друга не смеем.

На чепуху – закрываю глаза, потому что главное дороже. Верно: посмеяться тут при желании найдется над чем, в этой книге на четыреста с лишним страниц. Не обязательно для этого быть толпой холодной; обидно, когда находишь рядом: «Вот и кончилось лето, а другого не жди» и «Я спокоен, как дуло. У виска пистолет». Мы помним Козьму Пруtkова: «Вянет лист, уходит лето, иней серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться...». Обидно. Но перевернув несколько страниц найдем такое:

Загадочные лица
Глядят на нас с небес.
Гори, моя сестрица!
Я твой противовес...

– и всё простим; или, скажу осторожнее: всё прощу. И добавлю: будь у стихов Житинского в своё время настоящий читатель, я сейчас не в одиночестве восхищался бы этими строками.

Прав ли я? Что на самом деле случилось с человеком? В 2003 году, разбирая архив Зои Эзрохи, я нашел неизвестные мне стихи Житинского – и не мог скрыть радости: вот ведь и она хранила их десятилетиями! Зоя, однако ж, сказала:

– Да, хороший был поэт. Пока не забурел...

Плодовитость, проклятая плодовитость, среди прочих причин, сыграла с Житинским злую шутку: пиши он меньше, родник мог не пересохнуть; напиши он меньше, его итоговый том мог стать алмазной россыпью.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В декабре 1971 года проводилась в Ленинграде так называемая конференция молодых писателей Северо-Запада. Подавая в отборочную комиссию стихи, я видел перед собою именно весь этот северо-запад: от Прибалтики до Архангельска, бескрайние, так сказать, просторы. На деле – при менее пылком воображении это и сразу можно было понять – северо-запад сводился к тому же Ленинграду. Писателю, хоть в каком-то смысле отвечавшему этой кличке, в советской провинции делать было совершенно нечего, жить – совершенно невозможно. Конечно, теоретически какой-нибудь самородок и в Ухте мог появиться, но долго бы он там не задержался. И потом – что это такое: самородок? В музыке, живописи, математике – с этим всё ясно; дар проявляется рано и наглядно; но где же мы видим хоть одного поэта или прозаика, который в детстве был вундеркиндом? Среди великих (среди тех, кого мы договорились считать великими) таковых просто нет. Гете или Пастернак в отрочестве – дилетанты на все руки; из таких обычно ничего не выходит. Ни в одном веке, ни в одном уголке Европы не видим примеров литературного гения, признанного таковым в мальчишестве и при жизни. Пушкин? Чепуха. В лицее все писали стихи, и многие – не хуже, а в целом по успеваемости он окончил это заведение – предпоследним.

Мы опрокидываем на лицеиста его великое будущее. Ничего особенного и «старик Державин» в нем не заметил; всего лишь польщен был. Лермонтов? Тут и лица не было, сравнить не с чем. Культура, культурная среда, сперва лелеющая младенческое дарование, а затем – восприимчивая к его отклику, – вот что выявляет и воспитывает поэта. Поэтами рождаются? Тут и спору нет. Но из миллиона икринок зрелости достигает одна. Даже в нормальном обществе поэт выживает против вероятности, потому что стихи, некогда бывшие небом и хлебом, век от века всё дальше отодвигаются от алтаря, всё меньше нужны повзрослевшему человеку. «На рынок! Там кричит желудок...». Если же взять общество насквозь больное вроде советской России, особенно же – ее страшную, нищую, рабскую и хамскую глубинку, то там Пушкин попросту обречен. Глубинку, добавим, обворованную Москвой, которая для России хуже Орды. Ни одна страна в мире не знала такой централизации, как Россия. Потому-то и невозможно появление поэта в провинции. Конференции молодых писателей выносили на берега Невы из пещерной советской глуши людей в основном немолодых и уже погубленных, полуживых.

Я «был отобран», прошел в число делегатов-участников. Еще бы! Мудрено было не пройти; как тотчас выяснилось, уровень был низок. Заседали мы в Доме писателя, в Шереметевском особняке с окнами на улицу Воинова (Шпалерную), Кричевский переулок и Неву. Заседали не скопом, а группами (были разбиты по семинарам). В моем – руководителями оказались Лев Куклин, Вячеслав Кузнецов и Владимир Соловьев. Первые двое считались поэтами. Лев Валерианович Куклин (1931–2004) был известен как поэт-песенник. В его текстах слышалась задорная советская полуправда, от которой с души воротит:

Шагает, шагает, шагает
Веселый парень по весенней мостовой...

Пройдет много лет, и поймет мой студент
Что формулы счастья в учебниках нет.

Есть в книгах твоих много истин других,
Но формула счастья – одна на двоих.

Это были слова к музыке моего однофамильца Александра Колкера. Оказался Куклин человеком маленького роста, рыжим (или я его увидел рыжим), очень уверенным в себе. Сейчас я понимаю природу этой уверенности; когда на твою продукцию есть спрос, когда эта продукция, какова бы она ни была, приносит деньги, – уверенность появляется, что бы ни думали о тебе знатоки и ценители.

Куклин говорил веско и, мне почудилось, умно, – но не оттого ли почудилось, что он меня похвалил? Человек слаб. Так или иначе, а я от него ожидал меньшего. На минуту мне даже показалось, что на Куклина можно в некотором смысле опереться, подружиться с ним. Потом я у него однажды и дома был, в гостях. От этой встречи осталась в памяти фраза:

– Среди моих друзей-геологов многие пишут стихи, и пишут неплохо. Надо мной они смеются: нашел, из чего профессию делать!

И геологи правы. Профессиональный поэт – дикий вздор, возможный только в субсидируемой литературе.

В комнате, где он меня принимал, на нижней полке книжного стеллажа увидел я очень толстые скоросшиватели, помеченные годами: 1965, ... 1971. На какую-то секунду мне сделалось не по себе: это что же, он столько стихов в год пишет? Кормится – текстами для песен, а сам настоящее пишет и придерживает? Но я тут же сообразил, что такие скоросшиватели и у меня уже появились, числом два: на 1970 и 1971 годы. В них – письма, казенные и частные, все до единого полученные плюс копии каждого отправленного... Дружбы с Куклиным у меня не получилось.

Вячеслав Николаевич Кузнецов (по кличке Вячек) никак известен не был; писал плакатные стихи во славу Великого Октября и великого Ленина. Видом был не то колобок, не то опенок, сытый, румяный, маленький. Походил на комсомольского вождя, обкомовского работника. Дожил, бедняга, до крушения большевизма – и страшно перепугался. В начале

1990-х, хоть и недолго, у многих приспешников режима возникло впечатление, что эмигранты, выставленные большевиками, сейчас вернутся и будут править страной – или, во всяком случае, литературой. Вячек в ту пору сидел в какой-то должности в журнале *Звезда*, только что меня напечатавшем. В 1990 году туда заглянула за вознаграждением моя жена – и он, в числе прочих, перед нею прогибался, глаза пялил и чуть ли не ковровую дорожку стелил. В начале XXI века дошел до меня глухой слух, что Вячек умер, и не как-нибудь, а – «у чужой женщины»; не у своей, значит; молодец... Но в 1971 году всё было другое. Тут этот веселый колобок был наставником молодых. Каким – об этом и говорить не приходится. Ни единого слова, ни тени мысли от него не осталось; только комсомольский румянец.

Интересным человеком оказался критик Владимир Исаакович Соловьев. Был он молод, умен и решителен. Говорил убедительно. Я, понятно, немедленно развернул на семинаре орифламму моего недавно обретенного рискованного красноречия. В первый же перерыв Соловьев отозвал меня в сторону и сказал буквально следующее:

– Юра, что вы несете?! Ведь чужие же люди!

Я Соловьева видел в первый раз. Никогда не слышал о нем, не читал его сочинений. Он – мог слышать обо мне; например, от Кушнера, который в ту пору в Соловьеве души не чаял за его хвалебные статьи о себе.

С Соловьевым, несомненным интеллектуалом, я уж точно решил подружиться. Он явно шел в гору, был немногим старше меня, уже «вошел в литературу» и – ведь это ж надо! – был «свой» до всякого знакомства. Но и тут дружба не получилась. Помню, спустя недели после конференции оказался я у него в гостях по адресу 3-я Красноармейская 11, кв. 10. Жена его Лена носила фамилию Клепикова, а у меня была кошка Клёпа (Клеопатра), что Володю и Лену позабавило. Пили чай, о чем-то спорили, сплетничали (дело между сочинителями неизбежное), говорили о нашем светлом будущем в советской литературе, но сперва я выслушал критику макета моей книги стихов; это и была цель визита: я просил Соловьева покритиковать; рукопись вручил ему заранее – и вот пришел на разнос.

Разговор коснулся Бродского. В его гениальности Соловьев не сомневался, меня же, побранив и похвалив мои стихи, спросил с некоторым вызовом:

– Ведь вы не гений?

Я радостно замахал руками:

– Что вы, что вы! Какое! И в мыслях не имею. У меня совсем скромные притязания.

Разговорам о гениальности я знал цену. Ничуть они меня не задевали. Что такое гениальность в устах человека, не взглянувшего к Эйнштейну, знающего только слово, русское слово? Что такое гениальность внутри молодой, едва оперившейся литературы, лишь на минуту, при Толстом, Достоевском, Чехове ставшей всемирной? Смешно. Русский язык никогда не был и никогда не станет мировым. По-английски ежедневно выходит в сто раз больше книг, чем по-русски. Русские не составляют и трех процентов от населения Земли; из них стихи читают – не более процента, понимают – процент от этого процента. Это крохотное племя. Племенной гений стиснут в рамках дивной, но открытой немногим просодии; он не перешагнет границ ее ареала; даже Пушкин не перешагнул. О чем бренчим? Можно наслаждаться стихами, их чтением, их сочинением; а титулатура – смешна, особенно при жизни поэта. Какие чудовища еще недавно казались гениями! Про иных теперь спрашиваешь: можно ли хоть поэтами-то их признать?

Тут и с дефинициями трудность. В расхожем смысле гений – высшая степень таланта, на деле – мы чаще называем гениями людей одержимых, одухотворенных, харизматических; иной раз – людей властных, наделенных персональным магнетизмом или хоть артистизмом. Помните Ираклия Андроникова? Разве он не казался гением на эстраде? Но откройте тексты этого писателя – и вы ахнете.

Французское *génie* означает и *гений*, и *дух*. Ближайший родственник слова *génie* – *джинн*, *djinn*, дальний родственник – *джин*, тоже сидящий в бутылке. Гений должен завораживать. К тому, что он пишет, это прямого отношения не имеет. Ахматова, по замечанию умной мемуаристки Натальи Роскиной, была бы большим человеком, даже если б вовсе не писала стихов,

– но никто никогда не сказал такого про Мандельштама, никто при жизни не назвал его гением, даже не помыслил об этом; талантом – и то со скрипом признавали: «холоден», «недостает искренности», «вторичен» – вот что говорили в 1920–30-е годы. Ходило презрительное словечко *мандельштамп*, означавшее: играет в культуру, пишет о прочитанном. Харизмы – за ним не водилось, не числилось. Был маленький еврей, писавший неплохие стихи.

Мне повезло. Я еще в ранней молодости заглянул в те края, где главенствует выверенная мысль; там с титулами и оценками осторожны. А литераторы пусть потешатся! Главное, не мешайте мне жить и писать – и помогите критикой.

Соловьев, что и говорить, оказался «своим». Вскоре выяснилось, притом с его же слов, что КГБ пытался вербовать его – и, в сущности, завербовал. Соловьев пишет, что встречался с *литературоведами в штатском* в течение многих лет и при этом «никогда не доносил». Но разве встречи – не сотрудничество? Пусть это была печально знаменитая двойная игра: человека вербуют, он решает провести гэбистов, поддакивает им, соглашается – с тем, чтобы на самом деле сообщать «своим» об интересе к ним со стороны КГБ, предупреждать, – и, конечно, в итоге служит «чужим», потому что специалистов не поведешь.

Но всё это меркнет рядом с другим, более важным.

Соловьев эмигрировал в 1977 году, я – в 1984-м. В эмиграции я с удивлением заметил, что о Соловьеве не слышно. Как это может быть? – спрашивал я себя. – Ведь такой талантливый человек! Наконец мне в руки попал его *Роман с эпиграфами* – и я отпрянул в ужасе. Текст был низок – и по исполнению, и по содержанию. Разумеется, о содержании всегда можно спорить. Я увидел мелкого, низкого человека, лишённого всякого достоинства, догадывающегося о своем ничтожестве – и добивающегося сиюминутной известности любой ценой; я мог ошибиться. Другой читатель может увидеть автора в другом свете. Но вот чего не найдет в тексте никто: достоинств собственно литературных. Романа нет и в помине, есть памфлет, помесь пасквиля с исповедью. Композиционно текст рыхл до безобразия. Целые страницы пусты, на них нет ниче-

го, кроме истерического самолюбования. Язык безобразен. Вот примеры:

«Пересказ довлеет над стихом...»

«Две успешные книги...»

«Окостенел» (вместо *закоснел*).

«Вконец не выдержал...»

«Касаясь их по касательной...»

«Так был достигнут вожделенный равновес...»

«В том зимнем каникулярном Комарово» (*Пулково, Шереметьево* – тоже нигде не склоняются).

Всюду без единого исключения *либо* идет вместо *или*, не иначе как для важности, – а ведь в иных случаях эти союзы совсем не синонимы.

«Теряю из виду себя такого, каким я сейчас есть...»

«Ариаднова нить...» (отчего не Матренов двор?).

О таких пустяках, как «не при чем» (эта удивительная конструкция идет через весь *роман*, на опечатку не спишешь), можно и не говорить.

А полет мысли!

«Поэт государственного масштаба...»

«И.Б. из современных русских поэтов единственный понял, что угроза – душе, а не телу, потому что она смертна и беззащитна...»

«Значение И.Б. не только в том, что он ощущает себя последним поэтом на земле...»

«Пусть этот роман (его, Соловьева) будет таинственным, какой и была моя жизнь и какой она осталась и будет всегда...»

«Русский мат есть не что иное, как единственно возможная и адекватная реакция на невыносимую нашу жизнь...» (Да неужто? Есть и другое мнение: русский мат – язык тех, кому не хватает слов; язык черни, быдла.)

И при этом –

«Зачем Господь дал мне великий дар слова?»

«Полноценная моя русская проза...»

Мне стало неловко за то, что я на минуту поверил этому краснобаю в 1971-м. А ведь как он говорил! Или я слушал плохо? Или он с тех пор из ума выжил? Моё тогдашнее мальчише-

ство – разве только оно отчасти искупает мою вину. Ведь я не прочел тогда ни единой строки этого Соловьева.

Из участников моего семинара помню Светлану Бломберг из Таллина, ленинградцев Ханана Бабинского (Владимира Ханана), Аллу Киселеву, Александра Танкова и Ольгу Толчееву. Последняя была, собственно, приезжей, но уже обосновалась в городе.

На заседании велись протоколы: кто что сказал; для истории. Записывать наши исторические высказывания приходилось нам же. Я от этой повинности уклонился; она мешала ви- тийствовать, да и не так я относился к тексту (ко всякому тексту), чтобы писать между делом. Описки, ошибки – этого я не выносил. Помню, заглянув случайно через плечо писавшей протокол участницы, я увидел: «ХАНА: (далее шли какие-то слова Ханана...)». Потом, уже после наступления свобод, в 1993 году, все эти протоколы, нужно думать, сгорели вместе с Шереметевским особняком.

Ханан попал на конференцию факультативно: опоздал подать вовремя, через сито просеян не был, но участвовал в обсуждениях наравне с прочими. Ему было 26 лет (он умудрился родиться 9 мая 1945 года). Стихи осенили его незадолго до этого, работал он техническим рентгенологом, окончил вечернее отделение исторического факультета, но диплома не получил. Внешне это был французский аристократ, бургундский герцог Карл Смелый, добрый король Рене Анжуйский: высокий, стройный, длинноносый, с черными, слегка вьющимися волосами до плеч. Держался же без надменности, которая могла бы вытекать из подобной внешности, был деликатен, весел и учтив. После конференции я привел его к Кушнеру, и он стал постоянным участником кружка на Большевичке. Мы подружились, но дружба эта, не скрепленная эстетическим родством и родственным стилем жизни, всегда оставалась скорее тесным приятельством. Ханан довольно быстро ушел в сторону: вписался во вторую литературу, стал своим в кругах, куда меня не тянуло.

Светлана Бломберг поразила меня своей свободой и раскрепощенностью. Все, решительно все советские евреи, каких я знал, носили на себе печать ущербности. Читалась эта печать,

хоть и с вариантами, всегда одинаково: «Я знаю о моем врожденном пороке; знаю, что большинство считает меня чужим». Здесь – этого не было и в помине. Что Бломберг еврейка, невозможно было усомниться, но столь же очевидно было и другое: ее это ничуть не смущает, она принимает это как должное, она даже не ждет от других враждебности; один человек – папуас, другой – еврей; что тут такого? «Вот Эстония! – подумалось мне. – Форпост цивилизации в нашей Азиопе... Хорошо бы туда эмигрировать...»

Говорила Бломберг, как Бог на душу положит, скорее умно, чем глупо, но совершенно раскованно. Стихи ее мне понравились. Казалось, еще чуть-чуть, и они вовсе засверкают. Но это *чуть-чуть* для большинства на деле обыкновенно бывает непреодолимой пропастью.

Еще лучше были стихи Аллы Киселевой. Неудивительно: она прошла школу ленинградского дворца пионеров, состояла в том самом клубе *Держание*, где на заднем плане иногда и я появлялся. Киселева была хороша собою: стройная, грациозная и, чудилось, строгая. Пожалуй, чуть-чуть играла под молодую Ахматову. Говорила мало, рассчитывала, видно, что стихи и внешность скажут сами за себя. Так и вышло. И я, и Соловьев, тоже ее выделивший, клюнули не на одни стихи.

Ольга Толчеева тянула в сторону авангарда, но каким-то образом и в ее талант я поверил. Все три девушки были моложе меня. За каждой я после конференции попытался ухаживать. Первой отпала Толчеева. Приехав к ней на проспект Энергетиков, я застал ее не в настроении, если не прямо в слезах. Очевидное невероятное состояло в том, что я ей неинтересен: она была влюблена, притом не в меня. Это так разительно выпадало из привычной схемы, что я только плечами пожал и больше никогда ее не видел.

Киселева меня не вовсе отфутболила, однако ж когда я приехал к ней без звонка на Ломоносовскую 7 (телефона там не было), не скрыла своего неудовольствия. Было похоже, что я чему-то помешал. Жила она в коммуналке – одна или, может быть, не совсем одна. Мы гуляли по улицам, болтали о стихах и поэтах. Общего круга у нас не оказалось, общих литератур-

ных знакомых, тех, с кем меня сводила судьба, начиная с дворца пионеров, всплыло немало. Преобладали те, с кем я зняться не хотел: Кривулин и его окружение. Я звал Аллу к Семенову, к Кушнеру. К первому она съездить согласилась. Мы условились и встретились. Ехать нужно было на Нарвскую заставу. По пути она сказала:

– У Гостиного захватим еще одного типа.

Типом оказался Марк Мазья, дворцовский поэт с врожденным дефектом рук.

На Нарвской заставе в перерыве я предложил Алле шоколадную конфету, но ей потребовались спички. Она извлекла из сумочки пачку сигарет, на две трети пустую, и разом испортила мне настроение. Спички я Алле тотчас раздобыл у Житинского, но интерес к ней утратил и больше не делал попыток за нею ухаживать.

Со Светой Бломберг мы обменялись адресами. Она звала к себе в Таллин, и я принял приглашение. Еще в конце декабря 1971-го я написал стишок – из тех, что пишутся левой задней ногой:

Сотку себе из света,
Как парус кораблю,
Таинственное: Света;
Печальное: люблю.

Возьму тончайший лучик,
Из лучших, что нашлось –
И в путь... И мой попутчик –
Садко, заморский гость.

В Таллине, зимой, в начале 1972-го, я был не очень приветливо встречен ее родителями. Жили тесно; родители не ладили между собою и как-то не слишком любили дочь. У отца, морского офицера, на стене висел кортик, оказавшийся порядочным оружием.

Мы со Светой гуляли по городу, притом с заходами в кафе, что в Ленинграде было бы делом немислимым. Самая культура эта (для меня, во всяком случае) отсутствовала; нужно было

сперва стоять в очереди на морозе или жаре, затем сидеть в битком набитом зале, трепетать перед официантом-Мефистофелем и платить втридорога за фигну. Чего ради?! Слишком ясно видя всё это, я и не пытался.

В Таллине всё было другое: никаких очередей, места есть, обслуживание не inferнальное – и цены терпимые. Помню, против моей воли Света уговорила меня зайти в кафе *Тульяк*. Какие-то, уверяла она, фантастические бутерброды. Мы сели за столик, продолжая болтать о стихах – о чем еще мог я тогда говорить? Бутерброды нам подали – и официант не смерил нас презрительным взглядом. Через некоторое время, осведомившись, свободно ли тут и не помешает ли она, к нам подседа молоденькая эстонка и заказала чашку кофе. Чашку кофе! Помешать она, некоторым образом, помешала (мне), ибо тут же закурила. Но зато не задержалась. Допив кофе и докурив сигарету, встала и – что шло уже дальше всякого вероятия – пожелала нам приятного аппетита. Европа!

Я и прежде подумывал об эмиграции в Эстонию; не один Довлатов смотрел в эту сторону; о том, что тут проще публиковаться, и говорить нечего было; тут можно было сделаться членом союза писателей. Света Бломберг и мое мимолетное увлечение ею раздвигали горизонты для такого рода расчетливой мечты. Другая мечта, обычная, шла в параллель с нею, но Свете больше по душе была первая.

Девочка с колечком на уме,
Зябкое прощанье в полутьме
Таллинского зимнего вокзала.
Узелок на память завязала,
Растворилась медленно в зиме,
О любви ни слова не сказала.

В Таллине, где тысяча простуд,
Дуют нескончаемые ветры,
Ежятся деревья, не растут...
Проглотить бы эти километры,
Возвратиться, поселиться тут...

Мешало мне в новой подружке то, что она, двадцатилетняя, ярко красила губы, вообще, что называется, следила за собою и одевалась по моде. Вернулся я несколько разочарованный. В мае или июне 1972 года она приезжала ко мне на Гражданку; в июле – я ездил к ней в Тарту, где она училась. Приятельство так и не перешло в любовь.

Из моих стихов, которые обсуждались на конференции в декабре 1971 года, помню только одно, которое я и тогда за стихи не держал:

В хижине светит лучина.
В сумерках светит луна.
Есть и у счастья причина.
Есть и у горя она.

Мы забываем обиды.
Годы тихонько летят.
Звезды меняют орбиты.
Кошки приносят котят.

Это был, в сущности, побочный продукт, который я, осмелев, включил в подборку на пробу: пройдет ли такое рядом со стихами, которые я сам ценю? Прошло беспрепятственно, но при обсуждении – задело за живое одного провинциального, честного и немолодого есенианца из числа участников семинара. Сам он, чувствовалось, был человеком сломленным и натерпевшимся, стихи писал, что называется, задушевные, и тут увидел не шутку, а враждебную вылазку. Говорил об этом без злобы, чуть не со слезами в голосе, – так ему было обидно за русскую поэзию. Я слушал его и мысленно был с ним, хоть всё же верил в своё право на шутку и каламбур. Защищаться не стал. Когда дошло до обсуждения его стихов, хвалил их больше, чем они того заслуживали.

Завершилась конференция парадным выступлением лучших (по два поэта от семинара) в большом зале Шереметевского дворца; я в эту пару гнедых от своего семинара попал. Желтой кофты у меня не было: была красная, вязанная матерью шерстяная безрукавка. В ней я и вышел, причем под нею, в по-

рядке каламбура, была серая рубаха: красное идет к серому, сер же – я, так этот каламбур расшифровывался.

Выступали и руководители семинаров; от нашего – Кукулин. Обо мне в своем слове он говорил больше всего; сказал почему-то, что передо мною «открывается большая дорога». Может, тоже каламбурил? От конференции я получил рекомендацию на издание сборника стихов, но в ту пору такая рекомендация ровным счетом ничего уже не значила.

Во время конференции в коридорах появлялся поэт Василий Бетаки, о котором было известно, что «он уезжает», притом не один, а с Виолеттой Иверни. Я спрашивал себя: как он решается появляться здесь, когда уже порвал с этим миром, «с нами»? Ведь это вызов не только подлой системе, требующей от каждого низкого, животного патриотизма, это вызов и всем нам, русской литературе. Не укладывалось в сознании, почему люди не сторонятся его. О чем с ним говорить? Завтра он будет в потустороннем мире, откуда возврата нет. Что граница откроется; что мир станет одной большой деревней – этого никто и вообразить не мог.

МИЛЫЙ ЧЕЛОВЕК И ГНУСНАЯ СПЛЕТНЯ

На конференции (было сказано) я запомнил Александра Танкова. Точнее было бы сказать: я как-то выделил его из общей массы – и позвал на Большевичку к Кушнеру, а потом прочно забыл, где и когда мы с ним встретились. Было ему в 1971-м 18 лет. Высокий и тонкий, черноволосый, с лукавыми глазами, Танков был умен и образован не по летам. Кажется, и к Семёнову он стал ходить; не знаю только, с моей ли подачи. Дружбы между нами не возникло. Может, я держал его за мальчишку? Но Ескин был старше всего на год. В середине 1970-х Танков и вовсе исчез с моего горизонта.

В апреле 1990-го, на русской службе Би-Би-Си, на моей шерботой пишущей машинке (компьютеров там не было до середины 1990-х) я нашел неподписанное и недатированное письмо, пришедшее с оказией. Что письмо – от Танкова, понять можно было только по конверту. Танков «слышал обо мне

по радио как о специалисте по Ходасевичу». В этой фразе мне почудился полувопрос. В последний раз мы с Танковым виделись мельком (и не перемолвились ни словом) в Ленинграде 30 мая 1984 года, на импровизированной домашней конференции, возникшей как раз вокруг моей работы о Ходасевиче, небольшой монографии под названием *Айдесская прохлада*; она тогда привлекла внимание многих; ее читают до сих пор; это был вообще самый первый обстоятельный очерк жизни и творчества Ходасевича... Что хотел Танков сказать своей фразой? Что нового услышал он по радио?

Я ответил ему 2 мая 1990 года. В следующем письме, как и первое, недатированном (оно пришло через год или около того), он писал: «Прости за нескорый ответ... у меня появился шанс навестить тебя... если не подгадят на службе, может быть, мы с женой будем в Англии...». Последовала эпистолярная дружба, не тесная – и словно бы с подразумеваемой общностью, с фигурой умолчания, которой по 1970-м я припомнить не мог. Ключевой вопрос в отношениях между сочинителями – доверие или недоверие к сочинениям друг друга – никогда между нами не ставился и не обсуждался.

В 1993 году Танковы приехали в Лондон. Приглашение прислал им бывший однокашник Саши. На вопрос, чем он занимается, однокашник при встрече ответил мне так, как никто никогда не отвечал:

– Я – банкир.

Какое-то время Саша с женой гостили у банкира, потом перебрались к нам и провели у нас две недели. Саша оказался лыс и сед (что пренеприятно напомнило мне о моем возрасте, которого я совершенно не чувствовал и не сознавал); еще умнее и образованнее, чем в юности, стихи писал безусловно хорошие, отвечавшие моим старинным требованиям, но опять, как и в ту пору, по большому счету меня не тронувшие.

В числе подарков Танков привез несколько экземпляров только что изданной в Питере (за мой счет, его стараниями) книги моих стихов *Завет и тяжба*. Что это была за книга! Шестьдесят листов А4, согнутых пополам, вложенных друг в друга и соединенных двумя скрепками. В самиздате случа-

лись книги более презентабельные. Бурая бумага. Набор – мой, компьютерный, с опечатками. Таковы были тогда издательские возможности в России. На бурой, более чем мягкой и пустой обложке красовалось под именем автора и названием: *Советский писатель*. Это была едва ли не последняя книга некогда крупного издательства, выпускавшего книги молодых авторов.

В 1994-м, после десяти лет в эмиграции, я впервые посетил пенаты и побывал у Танкова «на углу Есенина и Луначарского». Кушнер, прослышавший о моем приезде, позвал меня в гости, но не одного, а с Танковым. Оказавшись у него на Таврической, я вдруг с удивлением увидел, что Танков – адъютант Кушнера. Впечатление было полное: адъютант при генерале. Кушнер внешне переменился мало, манера держаться осталась прежней, а вместе с тем чувствовалось, что теперь он – начальство, председатель поэзии, и к нему сходятся все нити. Сначала я обрадовался. Это ли не торжество справедливости? С ним – и всем нам, вчера гонимым, доставалась чаша на пире отцов. Разве нет? (Когда Бродский в 1987 году получил нобелевскую премию, некоторые литераторы в зарубежье поздравляли друг друга; им казалось, что *это они* получили премию.) Одно только коробило: откровенное неравенство в отношениях Кушнера и Танкова, субординация, устраивавшая обоих. Один снисходил, другой благоговел. Сначала я подумал, что Танков читит в старшем «седина честные», что было бы только естественно; но отчего же тогда младшему так явно отводилось в этой дружбе служебное место? Поэт ведь царь, а у монарха нет возраста. В этом-то, как потом выяснилось, и состояло всё дело. Зачем нам два поэта?

Дурное стало проступать тут же. Рассказывая о своей поездке в Иерусалим, Кушнер упомянул литературоведа Ш., окружившего его там всяческой заботой. Как все литературоведы, Ш. сочинял стихи, и Кушнер сказал мне между делом, что напечатал его стихи в *Звезде*.

– Но ведь стихи Ш. чудовищны, бездарны! – не удержался я.

– Да, – спокойно возразил Кушнер, – но человек он милый.

Тут я начал догадываться, что и меня *Звезда* публикует потому, что я милый человек, и не вообще милый (с этим всегда были трудности), а Кушнеру мил. Но я постарался отогнать эту мысль. На дворе ведь был праздник: субсидированную литературу отменили, нас, вчера гонимых, признали. Разве большому человеку мы не прощаем маленьких слабостей?

Как раз впервые присуждалась премия *Северная Пальмира*. В коротком списке рядом с Кушнером стоял Кривулин, тоже из недавно гонимых, в чей талант, однако, я никогда не верил (в литературном подполье процент бездарностей был совершенно тот же, что в советской литературе). Отправляясь в Дом композитора на церемонию вручения, я сказал себе: этот город покроет себя несмываемым позором, если первая живая премия достанется не Кушнеру. Досталась она Кушнеру, и я вздохнул с облегчением. В благодарственной речи Кушнер, среди прочего, сказал:

– В течение многих лет мы знали: московские премии – не для нас. Так оно и было. И вот теперь у нас есть своя премия.

Однако ж год спустя Кушнер получил московскую премию, и не какую-нибудь, а ту самую, государственную, с которой никогда не удастся соскоблить имя Сталина. Тут я засомневался, правильно ли это. Конечно, если говорить о стихах, то лучшего претендента и на этот раз не было на всех просторах богоспасаемой родины; кто, если не он? Да и отказаться было бы немислимо; из рук президента... Но что же это такое: государственная премия «деятелю искусств»? Не советский ли вздор? Золотая табакерка из рук императрицы – и та кажется чем-то более естественным, человеческим. Кем становится лауреат? Не государственным ли поэтом? Китай, да и только; правда, там государственные поэты еще по рангам различаются. Место поэта мне виделось другим: отшельническим, не епископским. Как-то, позвонив из Лондона в Питер физику Алексею Ансельму, я застал у него Кушнера и не удержался, поздравил его со сталинской премией. Поэт обиделся, но до ссоры тогда не дошло.

Дружбой с Кушнером, всегда неровной, я дорожил, многие стихи его, хоть и с оговорками, любил. Благодарность к нему не утратил и после разрыва. Школу на Большевичке все мы

прошли потрясающую. Тогда, в 1971–74 годах, неравенство было именно возрастное; разница 10 лет осознавалась в молодости как пропасть, да и достижения Кушнера были несомненны. Шутка ли: создать не свою манеру (она есть у каждого), а свое собственное стилистическое пространство. Бродский – и тот был стилистически ближе к тогдашнему усредненному стихотворцу, чем Кушнер. Не видел этого только слепой. Но в 1994-м я уже не чувствовал себя школяром, в мальчики не годился, дружбы с подразумеваемым неравенством не принял бы и от Пушкина; а Кушнер (как потом выяснилось) другой не понимал.

Несколько лет подряд я приезжал в Питер в мае.

– Вы у нас появляетесь вместе с ласточками, – пошутил Кушнер у себя на Таврической при очередной встрече. Приглашал он меня всегда в компании Танкова и других младших. Угощение неизменно было жирное, а разговоры постные. Читались стихи, и Кушнер всегда просил меня оставить читанные мною, что и понятно: со слуха ведь иной раз не разберешь, а он глух год от году. Если я звонил ему не сразу по приезде, он упрекал меня, однако ж когда я пожелал привести с собою поэтессу Е. Е., его почитательницу, едва уступил моим уговорам. На Таврической принимали очень выборочно.

При каждой встрече я не переставал изумляться взаимодействию двух Александров Семеновичей, Кушнера и Танкова. Всё тут шло как по нотам. Каламбур, озорная шутка, веселый вздор (мне совершенно необходимые, расчищающие дорогу мысли) были невозможны, не нужны. Меня то и дело одергивали. Во всем разные, эти двое сходились в одном: в какой-то священной серьезности, в жреческой степени. Оба словно перед алтарем выступали, и ни на секунду нельзя было забыть, кто тут первосвященник. В воздухе висело единственно правильное учение: кружковая эстетика. Кто не с нами, тот не поэт. Созидались агиографии, большая и малая.

В 1997 году Кушнер приехал в Британию по делам, связанным с изданием его переводов, и неделю жил у меня в Боремуде. Я привел его на русскую службу Би-Би-Си, взял у него

разом три интервью (впрок, в студийной предзаписи), после чего он пошел по рукам: многие хотели сделать его участником своих программ. К концу дня поэт заработал (и получил; гостям из России платили вперед) около восьмисот фунтов.

По вечерам мы с ним гуляли в окрестностях моего дома. Говорили о многом, в основном о стихах и поэтах. Дружба, повторю, была со щербинкой и шла на убыль, но всё еще не обесценилась для меня. Держалась она, среди прочего, на одном важном пустячке: еще в 1991 году, в свой первый приезд в Лондон (в самый пик испуга России перед мнимой мощью эмиграции), Кушнер предложил мне называть его не по имени-отчеству, как это повелось во времена моего мальчишества, а просто Сашей. Сделал он это вовремя. Не случись этого, я бы стал тяготиться его обществом еще раньше.

Я напомнил Кушнеру, как в 1974 году, когда мы с Таней решили эмигрировать, он отговаривал нас тем, что «стихи там никому не нужны», и как я возразил ему: «А здесь мы никому не нужны, да и не ради стихов человек живет. Я пишу, потому что живу, не наоборот...». Что он в ту пору мне ответил, я не запомнил, оттого и вернул его к этому разговору.

– А я, – возразил Кушнер, – живу, чтобы писать.

Мои ответные слова: – Нельзя быть до такой степени гедонистом! – он, видно, не расслышал.

Он рассказал мне об одной выходке Бродского в первые месяцы эмиграции того.

– Только вы никому это не пересказывайте, – попросил меня Кушнер. Хорошо, что на улице было темно, и в этот момент рядом проезжала машина. Он, впрочем, и так мог бы не заметить моей реакции; слишком был поглощен собою... Литература живет сплетнями, питается ими. Сочинитель рассказывает сочинителю о сочинителе – и просит молчать: не смешно ли? Не для того ли и рассказывает, чтобы пустить сплетню? Но еще смешнее другое: выходка Бродского сводилась к словам. Бродский будто бы сообщил ректору университета, при котором состоял, о своей шалости из числа тех, о которых не говорят. Шалости, однако ж, могло не быть; была она или нет, упоминание о ней (выходка) могло быть воспринято как шалость (не все же американцы лишены чувства юмора); наконец, и са-

мого разговора с ректором университета – тоже могло не быть; об этом разговоре Кушнер услышал от Бродского. О чем, бога ради, мог бы я тогда или хоть сейчас поведать миру? Какую сплетню пустить?! При всем желании сказать мне решительно нечего. «Крис, он сказал, что ты сказал, а я говорю, что ты врешь...»

Я готовил к изданию книгу стихов. В ходе боремвудских бесед Кушнер вызвался написать к ней предисловие. Я отклонил эту милость, осторожно объяснив ему, что в свои книги никого не пускаю.

– Тогда, – сказал Кушнер, – я напишу на нее рецензию.

Но это уже было под солнцем. Перед изданием других моих книг с полдюжины людей, все – из числа друзей и доброжелателей, обещало написать рецензии. Каждому я сказал то, что всегда говорю в таких случаях: «Это – ваш бизнес». Ни один не написал. То же я сказал и Кушнеру – и он не стал исключением.

В свою книжку я бы и Пушкина не пустил, воскресни он ради предисловия к ней. Настоящий читатель сам разберется, случайному – никакие припарки не помогут; что ж дурака-то валять? Одна из моих размолвок с Кушнером (в 1994 году) как раз в связи с этим и возникла. Я напомнил ему, что свое предисловие к стихам Валерия Скобло он умудрился начать словами о том, когда и где он, Кушнер, со Скобло познакомился. На мое «как можно?!» Кушнер ответил совсем странно:

– Что же, мне каждую докладную записку писать с полной отдачей?

Докладная записка – о поэте?! (Тогда я еще не знал, что поэт может быть только один.)

В 1999 году в Питере устроили обедню по Пушкину: юбилейный *конгресс поэтов*. Получив по почте официальное приглашение, я в очередной раз ахнул: вот новая Россия! Как она преобразилась! И эмиграцию мне готова простить, и неблагозвучную фамилию, и всё – за стихи, за мое беззаветное служение русской музе. Мне даже показалось, что и я готов родину в ответ простить. На ласки-то кто не падок? Но в Питере выяснилось, что обедню устраивает всё та же *Звезда*, выбившая под

Пушкина деньги из «правительства города», и что хозяин конгресса – Кушнер. Он преспокойно сидел в президиуме в Таврическом дворце (да-да, именно там) в компании с людьми, с которыми мне трудно было в одном помещении находиться. Кто выбрал этот президиум? Кто выбрал эту когорту поэтов, 200 человек, съехавшихся со всего мира? В ходе праздника я гнал эти мысли, а когда вернулся домой, они сели мне на загривок.

В конце 1999 года у Кушнера появилась электронная почта. Чуть раньше, во время телефонного разговора, он спросил меня, понравилась ли мне его последняя книга. Я совершенно искренне сказал: книга замечательная (и сейчас так думаю). Тут произошло неожиданное: он попросил меня написать о ней рецензию. Я изумился. Перед моей безвозвратной эмиграцией, перед моим *отъездом на Марс* в 1984 году, единственным его напутствием была просьба никогда о нем не писать. Я завет выполнил; статья в *Русской мысли* на его пятидесятилетие в 1986 году, в которой я – более чем соавтор, была подписана не моим именем. (В ту пору, напомним, Кушнера приходилось защищать, отстаивать от обвинений в советскости.) И вдруг: «Напишите!» Поколебавшись, я обещал; но в первом же электронном письме сказал ему, что рецензия не будет сплошным панегириком – и объяснил, что именно я намерен критиковать. В ответном письме он буквально ударился в крик. Выходило, что мне, младшему, критиковать его нельзя; что это – измена; что я присоединяюсь к тем, кто его «травит». Еще выходило, что нет и не может быть свободной, беспартийной критики (в эмиграции я тоже столкнулся с этим анекдотическим явлением; стоило сказать, что Солженицын – посредственный стилист, как тебя обвиняли в измене общему делу). Письма Кушнера, это и последующие, я храню. Как ни относишься к их содержанию, их слог никому не сделает чести.

Моя книжка *Ветилуя* вышла в 2000 году. Будучи в Питере, я столкнулся с Кушнером на Аничковом мосту. Он немедленно сообщил мне, что хоть мои журнальные подборки и хороши (каждую в отдельности он еще прежде хвалил), а книга нехороша: не нравится ему. В первый момент я обрадовался:

неужели он начал догадываться, что я не совсем из его эстетики исхожу? Чтобы проверить впечатление, я спросил осторожно:

– Да отчего ж вы не подождали, пока я сам поинтересуюсь, понравилась ли вам моя книга?

Он посмотрел на меня с изумлением, и я понял, что радовался зря. Есть только один путь построения социализма: наш, советский. Шаг вправо, шаг влево – считается побегом. Но и в этот раз мы окончательно не поссорились.

В 2001 году *Ветилуя* не попала в короткий список на Северную Пальмиру. Кушнер уверял меня, что он, в качестве члена жюри, выставил мне высший бал. Свое публичное выступление на церемонии (он был неизменным конференсье на вручении премий после 1994 года) *начал* словами о том, что моя книга – «не хуже, ничуть не хуже» тех трех, что в список попали. Не одному мне эти слова показались бестактностью. Он обижал сразу многих. Я – просто униженным себя почувствовал от самого факта сопоставления моей книги с двумя из трех книг этого списка. Кушнеру мне хотелось сказать: играешь в их игры, лезешь на эстраду, когда не нужно, – играй по правилам, не пытайся угодить и вашим, и нашим. Что книга Сосноры – позорна, ты знаешь совершенно так же, как я, а сказать, в отличие от меня, не смеешь; так не говори же хоть лишнего. Из Питера я уехал, не простившись с ним.

Два года мы не писали и не звонили друг другу. В 2003 году, в коротеньком электронном письме, я осведомился, как у него дела, и получил ответ: дела, мол, ничего, но непонятно, о чем писать, когда так долго не общаешься. То есть выходило, что я должен был проявлять к другу больше внимания, чем друг ко мне. Отвечать я не стал.

Остается выяснить, сводил ли я с ним счеты. Пожалуй, что и сводил, только – не личные. Его общественная позиция становилась всё более непривлекательной, обидно неправильной; его самолюбование – все более несомненным, а стихи куда-то делись: вместо них сплошным потоком шло искусное версификаторство, бесконечная череда самоповторов. Его плодовитость производила удручающее впечатление. Я всё спрашивал

себя: неужели человек не видит, что заживо хоронит себя под этим бумажным ворохом?

Несколько раз в течение 1990-х и в начале нового века пытался я донести до него простую и не новую мысль, которую он прежде разделял: нельзя поэту заседать в президиумах, казнить и миловать, не может это не сказаться на пробе вдохновения; и сказывается уже: все эти кушнеровские арабески мы видели, иные из них и хороши, да не кровью выведены... Но во время ночных прогулок в Боремвуде он моих предостережений не услышал (слушал только себя), а к себе на Таврическую ни разу не позвал меня одного; разговоров не получалось. Может, хоть прямой выпад заставит его задуматься? Не им ли сказано: «прямой поступок – вот реальность»?

В 2005 году до меня дошла из Питера сплетня, которую я повторил в печати (в статье на 60-летие Зои Эзрохи). Совершил, можно сказать, гнусный поступок, но зато прямой. Совершаю его еще раз – потому что убежден, что так и нужно. Рассказывали, что Кушнеру было устроено американское турне на условии, что в ответ на стандартный искательный вопрос слушателей «А кто еще, кроме вас?» он назовет имена нескольких питерских поэтов. Зачем это нужно было? Затем, что Запад слышит только Москву, а Москва сожрала Россию хуже орды. Любая посредственность в Москве находила (всегда через Запад) признание, деньги, поддержку... передо мною длинный список людей вполне ничтожных, во главе с тремя откровенными профанаторами: Айги, Приговым и Львом Рубинштейном. Любое дарование в Питере могло заглухнуть и пройти незамеченным. Не из любви к этому городу (иным он так же противен, как Москва), а из любви к русской поэзии нужно было попытаться исправить этот дикий перекосяк; у Кушнера был шанс хоть что-то сделать; он был единственным немосквичом, с кем Запад считался. Как он распорядился этим шансом? Не знаю, а сплетня (которую я повторил и повторяю опять) такова, что не назвал он ни одного имени; вместо этого, добрая душа, предложил слушателям еще свои стихи почитать. Может, и не так было. Я, вероятно, должен был навести справки, уточнить эту гнусную сплетню и отвергнуть ее, потому что на деле она могла оказаться не только гнусной

сплетней, а и гнусной ложью. Но вот беда: в мой портрет переменившегося Кушнера она, эта гнусная сплетня, вписывалась так, как если б была стопроцентной проверенной правдой. Все мои наблюдения сходились в ней, как в фокусе: именно так Кушнер мог поступить. И я решил: стану-ка я подлецом русской литературы, в предположении, что я принадлежу^кней – и что эта периферийная, окраинная, не понимающая своего места литература еще жива. Я ведь не с теми, кто говорит, что Кушнер не поэт. Я с теми, кто восхищался его дарованием – и кто огорчается его перерождением, его падением.

Было тут еще вот какое соображение: сплетня – реальность, она существует, ее так или иначе повторяют, и в печать она всё равно непременно попадет, куда ей деться, – а на дворе у нас эпоха, когда печатное слово неотлично от устного. Разве я не перескажу ее, эту сплетню, в застольной беседе? Перескажу. И другие перескажут. Ко мне она залетела не откуда-нибудь, а из самой сердцевины кушнеровского кружка. Отчего же не напечатать? Не честнее ли это? Кто-то ведь и грязную работу должен на себя брать.

Мой гнусный поступок был бескорыстным. Можно его и садомазохистским назвать. Я, помимо всего прочего, еще и эксперимент ставил, и он удался. Реакция последовала в форме письма из *Звезды*: «Зарезервированные статьи можете считать свободными, новых текстов от Вас не ждем». Был, значит, я милым человеком – и перестал быть. Но кумовства в литературе стало меньше.

А Танков? Не к Кушнеру ли сводилась та неназванная, подразумеваемая общность, та фигура умолчания, подстилавшая нашу с ним новую дружбу? В 2003 году, словно бы между делом, Танков предложил мне вступить в союз питерских писателей – в один из союзов, которых там возникло несколько: в *настоящий*, в тот, который наследовал союзу советских писателей. Другие писатели с их союзами в счет не шли, были (по остроумному замечанию Танкова) не ближе к настоящему, чем писатели Маркизских островов. Организаций я вообще сторонился, но тут смалодушничал; главным образом был прельщен льготой: возможностью пользоваться специальной

писательской поликлиникой (до которой так и не добрался). Танков и Скобло написали мне рекомендации. Первый не настаивал на том, чтоб я прочел его текст, и я читать не стал. Второй заставил меня прочесть им написанное. Лишь словами «Ты ведь хочешь, чтоб меня приняли?» удалось мне убедить Скобло сократить текст вдвое, убрать цитаты и снять неуместные похвалы. Где-то через месяц меня приняли, заочно и единогласно. Не знаю, кто голосовал. Даже того, что Танков – секретарь этого союза, я не знал, хоть и мог бы догадаться. В его предложении вступить в союз я увидел знак дружбы ко мне, знак симпатии к моим сочинениям (всё это и было на деле), а того, что он попутно еще и свое возросшее влияние хочет продемонстрировать, я не понял и не оценил.

В октябре 2003 года Танков устроил в писательском доме на набережной Макарова вечер *старых большевиков*: тех, кто ходил когда-то на Большевичку (как раз на этот вечер не пришел Ескин, которому оставалось жить три недели). Были: Ханан (уже перебравшийся в Иерусалим, а в Питере гостивший), Скобло, Виталий Дмитриев, Галина Соколова, Танков и я. Слушателей собралось примерно столько же. Кушнер был приглашен, но сказался больным. Устроительницы, Регины Серебряной, уже два года как не было в живых; мы принесли ее портрет. Вечеринка как вечеринка, обычный междусобойчик, сперва чтения, а потом закуска и выпивка, только под писательским кровом. Одно мне показалось странным: как важно Танков усаживался в председательское кресло в гостиной, откинув фалды длинного пиджака. Я на минуту опешил: почему он? Но тут же сказал себе: больше никому. Мы с Хананом – гости; прочие хоть и старше Танкова, но Дмитриев «гуляет сам по себе», а Соколова и Скобло домоседы. Я не понимал, что Танков и номинально был в этой гостиной хозяином.

В 2006 году одна из не совсем готовых моих рукописей попала в печать, то есть канула в Лету, но добрые люди на минуту извлекли ее из летейских вод и сообщили Танкову, что я вижу в нем адъютанта Кушнера и не совсем в восторге от его стихов. Мы с Танковым обменялись письмами. Он сообщал, что и ему

мои стихи не близки, хоть он и отдает им должное; а Кушнер – выдающийся человек, отчего все ему и завидуют. Выдающийся? Помилуйте, кто же спорит! Я был в числе первых в моем поколении, кто всегда на этом настаивал. Только зависти к нему, не говоря уже о травле его, я не вижу. Число укулов, выпадающих сочинителю, всегда прямо пропорционально его известности, только и всего. Так было всегда, со всеми. Отчего Кушнеру кажется, что он должен быть исключением? Разве когда-нибудь кого-нибудь признавали все? Почему он думает, что вся правда – с ним? Отчего бы и Танкову не выслушать дружеское предостережение? Любые стихи можно высмеять; чем они выше, тем задача легче. Я – не смеялся над ним, только от стытости предостерегал, от самодовольства: от того единственного, чего муза не прощает. Совершенно как Кушнер, Танков годами оставался глух к моим предостережениям, услышал же лишь напечатанные. Видно, всё еще, по советской привычке, фетишизировал гутенбергов пресс, считал, что оттиснутое стоит дороже произнесенного. Это – зря. Бумага подешевела, если не обесценилась. Человек тоже. Литературных агиографий больше не будет.

– Не думаешь ли ты, – писал мне Танков в ответ на мои слова о том, что Кушнер раздает назначения, – что и меня Кушнер куда-нибудь назначил?

– Нет, – отвечал я. – Думаю, что он назначил меня – и с благодарностью слагаю с себя непрошенную должность.

ФРЕДЕРИКА, ДОЧЬ ГЕОРГА, ПРОЩАЙ!

«Ксения, дочь Агесилая, прощай!». Так писали эллины на своих надгробиях. Я видел их в Керчи – в Пантикапее.

Фика не умерла, но расстались мы навсегда. Весной 1972 года, не сказав никому ни слова, она вышла замуж за индонезийца по имени Ахмет и вскоре уехала с ним за границу, однако не в Индонезию (отец Ахмета был, по слухам, мэром Джакарты), а в США.

Почему Ахмет? Тайна сия велика есть. Не будучи красавицей, Фика нравилась. В 1970 году ей по крайней мере трое сделали предложение – и все три предложения она отклонила.

Феодосийский Валера, допустим, мог быть не в счет: простоват, однако ж настойчивость проявил нешуточную, слал посылки (с айвой), приезжал в Ленинград, писал. Москвича Володю Гомзякова тоже в счет не берем, и по той же причине. Он был влюблен в Фику с 1966 года; женился, а всё не мог ее забыть; умирая, хотел ее видеть.

Очень могли быть в счет двое других, оба физики: Д. А. из ленинградского Физико-технического института и М. Ш из Красноярска. Первый вскоре переехал в Москву, что означало: пошел в гору. Ее отказу удивился; сказал: «Ну, ты еще подумаешь...». Второй впоследствии сделал нормальную профессорскую карьеру в США. Фика познакомилась с ним в августе 1970 года, на пляже в Орджоникидзе под Феодосией. Он приезжал к ней в Ленинград; звал следующим летом ехать в Днепрпетровск, откуда был родом. В апреле 1971 года Фика написала ему, что влюблена, но не в него. На этом всё кончилось.

С Таней Фика переписывалась и слала ей мелкие подарки до весны 1973 года, когда та стала моею женой. Общей их подруге Тамаре Францкевич писала до начала 1977 года. В январе 1977 года Житинский вручил Тамаре свою первую (советскую) книгу стихов *Утренний снег* с дарственной надписью Фике и словами:

– Я Фику больше не люблю.

Тамара отослала книгу в Чикаго, после чего переписка оборвалась.

С индонезийцем познакомила Фику ее эстонская тетка, работавшая медсестрой в поликлинике Политехнического института, где Ахмет стажировался или учился в аспирантуре.

Уезжая, Фика оставила в наследство Тане свои дневники, наброски стихов (с поручением довести их, которое Таня выполнила) и дружбу Житинского. В этих стихах, хоть и основательно переписанных, кое-где удержался южно-русский выговор в рифме.

Голос осени глух.

Голос осени тих и печален.

Нас забросило вдруг

На безлюдные камни купален,

Где волна за волной
Набегает, скорей, по привычке,
И свистят за спиной
Протяженным свистком электрички.

Нам прощаться пора.
Так поможем друг другу проститься!
То, что было вчера,
Улетело и не повторится.
Мы с тобою вдвоем,
К сожалению, всё понимаем,
Так давай сентябрем
Завершим, что задумано маем.

Камень, брошенный вскользь,
Создал два расходящихся круга.
Надо врозь, надо врозь,
И нельзя нам ещё друг без друга.
Ах, какие слова
Говорим мы разумно и честно!
Только осень права,
Только всё наперед ей известно.

Камни, о которых здесь речь, – в Комарове. Долю соавторства мне вычислить не удалось, зато удалось найти (уже в 1990-е) несколько писем Фики, написанных в судьбоносном 1971 году.

История с Фикой не прошла для Житинского бесследно; он изменился, его жизнь приняла другое направление. После 1971 года стихи у него идут на убыль и к 1979 году совсем уходят.

Умерла ли Фика для меня? Пожалуй. В 1972 году я отдал дань сладким мучениям; сладким, ибо – как говорит Ходасевич –

Нет ничего прекраснее на свете,
Чем навсегда с возлюбленной расстаться
И выйти из вокзала одному.

В 1986 году, в парижском аэропорту Орли, поднимаясь по бесконечному эскалатору, я увидел ее на другом эскалаторе, шедшем вниз. Это была она – или женщина, неотразимо на нее похожая. Наши взгляды на секунду встретились. Я сдержался и не сказал своим взглядом ничего. Она (если это была она) поступила точно так же.

2005, 2008

Лондон

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Я пишу о себе...»	5
Пастернак и Фихтенгольц	6
Недоросль перед камнем	8
Мое горацянство	10
Андрей Романов	12
Глеб Семенов	20
Житинский	26
Судный день	31
Vita nuova	35
Весы	40
На Выборгской	42
Дача в Зеленогорске	49
Кушнер и Большевичка	52
Машинка	64
От Москвы до самых до окраин	65
Комиссия по борьбе с молодыми	70
Слепая ласточка	76
Городницкий и Ескин	79
Аспирантура у Бабы Яги	85
Подруги	87
Я женюсь	92
Я выступаю	97
Вечеринка на Гражданке	99
Выступление, но сперва отступление	100
Бродский снизу и сбоку	104
Два романа	108
Я – патриот	112
Я – повеса	118
У Петропавловки	124
На юг	127
Этюды пессимизма	149
Проклятая плодовитость	157
Конференция	164
Милый человек и гнусная сплетня	176
Фредерика, дочь Георга, прощай!	188

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Ст-ца	Строка	Напечатано	Читать
25	16 сверху	Завсегдатаям	Завсегдатаем
69	15 снизу	Александрович	Александровича
83	4 снизу	лимитирующий	лимитирующих
89	14 снизу	я отправился	отправился
102	10 сверху	конченным	конченым
105	11 снизу	согласовалось	согласовывалось
116	4 сверху	перечитывают	перечитываю
128	4 сверху	от все этой муры	от всей этой муры
158	17-16 снизу	рядом с Винокуровым, с Наровчатовым и Дудиным	рядом с Наровчатовым, Винокуровым, Дудиным
171	18-19 снизу	незадолго до этого	недавно
186	6-7 сверху	я принадлежу ней	я принадлежу к ней



Воспоминания Юрия Колкера адресованы узкому кругу читателей: тем, кто читает и пишет стихи. Текст насыщен неявными цитатами, резок, парадоксален. Построенный на дневниках 1971 года, он охватывает («методом анжамбманов») период с конца 1960-х до начала XXI века. Автор не щадит себя: разглядывает свое прошлое с юмором, иронией и горечью. Одна из сюжетных линий читается, как встроенный роман. Портреты известных в литературе людей соседствует с портретами нелитературными. По жанру это «фактография души»; обычные происшествия человеческой жизни оказываются в одном ценностном ряду с вехами литературного становления поэта.

ISBN 978-5-87445-032-7



9 785874 450328 >